

ПАВЛИН АНДРЕЕВ



РОЗА МИРА



LITRU.RU

Даниил Андреев. Роза мира. (Книги 1-12)

Метафилософия истории

ГЛАВА 1. РОЗА МИРА И ЕЕ БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

Эта книга начиналась, когда опасность неслыханного бедствия уже нависала над человечеством; когда поколение, едва начавшее оправляться от потрясений второй мировой войны, с ужасом убеждалось, что над горизонтом уже клубится, сгущаясь, странная мгла – предвестие катастрофы еще более грозной, войны еще более опустошающей. Я начинал эту книгу в самые глухие годы тирании, довлевшей над двумястами миллионами людей. Я начинал ее в тюрьме, носившей название политического изолятора. Я писал ее тайком. Рукопись я прятал, и добрые силы – люди и не люди – укрывали ее во время обысков. И каждый день я ожидал, что рукопись будет отобрана и уничтожена, как была уничтожена моя предыдущая работа, отнявшая десять лет жизни и приведшая меня в политический изолятор.

Книга «Роза Мира» заканчивается несколько лет спустя, когда опасность третьей мировой войны не поднимается уже, подобно мглистым тучам, из-за горизонта, но простерлась над нашими головами, закрыв зенит и быстро спускаясь от него вниз, по всем сторонам небосклона.

А может быть, обойдется? – Такая надежда теплится в душе каждого, и без подобной надежды нельзя было бы жить. Одни пытаются подкрепить ее логическими доводами и активными действиями. Некоторые ухитряются убедить самих себя в том, будто опасность преувеличивается. Третьи стараются не думать о ней совсем, погружаясь в заботы своего маленького мирка и раз навсегда решив про себя: будь, что будет. Есть и такие, в чьей душе надежда тлеет угасающей искрой, и кто живет, движется, работает лишь по инерции.

Я заканчиваю рукопись «Розы Мира» на свободе, в золотом осеннем саду. Тот, под чьим иглом изнемогала страна, давно уже пожинает в иных мирах плоды того, что посеял в этом. И все-таки последние страницы рукописи я прячу так же, как прятал первые, и не смею посвятить в ее содержание ни единую живую душу, и по-прежнему нет у меня уверенности, что книга не будет уничтожена. что духовный опыт, которым она насыщена, окажется переданным хоть кому-нибудь.

А может быть – обойдется, тирания никогда не возвратится? Может быть, человечество сохранит навеки память о страшном историческом опыте России? – Такая надежда теплится в душе всякого, и без этой надежды было бы тошно жить.

Но я принадлежу к тем, кто смертельно ранен двумя великими бедствиями: мировыми войнами и единоличной тиранией. Такие люди не верят в то, что корни войн и тираний уже изжиты в человечестве или изживутся в короткий срок. Может быть отстранена опасность данной тирании, данной войны, но некоторое время спустя возникнет угроза следующих. Оба эти бедствия были для нас своего рода апокалипсисами – откровениями о могуществе мирового Зла и о его вековой борьбе с силами Света. Люди других эпох, вероятно, не поняли бы нас; наша тревога показалась бы им преувеличенной, наше мироощущение – болезненным. Но не преувеличено такое представление об исторических закономерностях, какое выжглось в человеческом существе полувековым созерцанием и соучастием в событиях и процессах небывалого размаха. И не может быть болезненным тот итог, который сформировался в человеческой душе как плод деятельности самых светлых и глубоких ее сторон.

Я тяжело болен, годы жизни моей сочтены. Если рукопись будет уничтожена или утрачена, я восстановить ее не успею. Но если она дойдет когда-нибудь хотя бы до нескольких человек, чья духовная жажда заставит их прочитать ее до конца, преодолевая все ее трудности, – идеи, заложенные в ней, не смогут не стать семенами, рождающими ростки в чужих сердцах.

И произойдет ли это еще до третьей мировой войны или после нее, или третья война не будет развязана в ближайшие годы вовсе – книга не умрет все равно, если хоть одни

дружественные глаза пройдут, глава за главой, по ее страницам. Потому что вопросы, на которые она пытается дать ответ, будут волновать людей еще и в далеком будущем.

Эти вопросы не исчерпываются проблематикой войны и государственного устройства. Но ничто не поколеблет меня в убеждении, что самые устрашающие опасности, которые грозят человечеству и сейчас и будут грозить еще не одно столетие, это – великая самоубийственная война и абсолютная всемирная тирания. Быть может, третью мировую войну – в нашу эпоху – человечество превозможет или, по крайней мере, уцелеет в ней, как уцелело оно в первой и во второй. Быть может, оно выдержит, так или иначе, тиранию еще более обширную и беспощадную, чем та, которую выдержали мы. Может случиться также, что через сто или двести лет возникнут новые опасности для народов, не менее губительные, чем тирания и великая война, но – иные. Возможно. Вероятно. Но никакие усилия разума, никакое воображение или интуиция не способны нарисовать опасностей грядущего, которые не были бы связаны, так или иначе, с одной из двух основных: с опасностью физического уничтожения человечества вследствие войны и опасностью его гибели духовной вследствие абсолютной всемирной тирании.

Книга направлена, прежде всего, против этих двух зол. Двух коренных, первичных зол. Она направлена против них – не как памфлет, не как разоблачающая сатира, не как проповедь. Самая жгучая сатира и самая пламенная проповедь – бесплодны, если они только бичуют зло и доказывают, что хорошее – хорошо, а дурное – дурно. Они бесплодны, если не основаны на знании основ того миропонимания, того универсального учения и той действенной программы, которые, распространяясь от ума к уму и от воли к воле, были бы способны отвратить от человечества эти две коренные опасности. Поделиться своим опытом с другими, приоткрыть картину исторических и метаисторических перспектив, ветвящуюся цепь дилемм, встающих перед нами или долженствующих возникнуть, панораму разноматериальных миров, тесно взаимосвязанных с нами в добре и зле, – вот задача моей жизни. Я стремился и стремлюсь ее выполнять в формах словесного искусства, в художественной прозе и в поэзии, но особенности этого искусства не позволяли мне раскрыть всю концепцию с надлежащею полнотой, изложить ее исчерпывающе, четко и общедоступно. Развернуть эту концепцию именно так, дать понять, каким образом в ней, трактующей об иноприродном, в то же время таится ключ и от текущих процессов истории, и от судьбы каждого из нас, – вот задача настоящей книги. Книги, которая, если Господь предохранит ее от гибели, должна вдвинуться, как один из многих кирпичей, в фундамент Розы Мира, в основу всечеловеческого Братства.

Существует инстанция, много веков претендующая на то, чтобы быть единственной неуклонной объединительницей людей, предотвращающей от них опасность войны всех против всех, опасность падения в хаос. Такая инстанция – государство. Со времен окончания родового строя на всех исторических этапах государство являлось существенной необходимостью. Даже иерократии, пытавшиеся его подменить властью религиозной, превращались в разновидности того же Государства. Государство цементировало общество на приищите насилия, а уровень нравственного развития, необходимый для того, чтобы цементировать общество на каком-либо принципе ином, не был достигнут. Конечно, он не достигнут и поднесь. Государство до сих пор остается единственным испытанным средством против социального хаоса. Но уясняется наличие в человечестве этических начал более высокого типа, способных не только поддерживать, но и совершенствовать социальную гармонию: и, что еще важнее, намечаются пути ускоренного развития этих начал.

В политической истории новейшего времени легко различаются две общечеловеческие направленности, полярные друг другу.

Одна из них стремится к переразвитию государственного начала как такового, к укреплению всесторонней зависимости личности от государства, точнее – от той инстанции, в

руках которой находится государственный аппарат: партии, армии, вождя. Государства типа фашистского или национал-социалистического – ярчайший пример феноменов этого рода.

Другой поток явлений, возникший еще в XVIII веке, если не раньше, – это поток направленности гуманистической. Его истоки и главнейшие этапы – английский парламентаризм, французская Декларация прав человека, германская социал-демократия, наконец, освободительная борьба против колониализма. Дальняя цель этого потока явлений – ослабление цементирующего насилия в жизни народов и преобразование государства из полицейского по преимуществу аппарата, отстаивающего национальное или классовое господство, в аппарат всеобщего экономического равновесия и охраны прав личности. В исторической действительности имеются еще оригинальные образования, могущие показаться как бы гибридами. По существу оставаясь феноменами первого типа, они видоизменяют собственное обличье в той мере, в какой это целесообразно для достижения поставленной цели. Это – лишь тактика, маскировка, не более.

И все же, несмотря на полярность этих потоков явлений, их объединяет одна черта, характернейшая для XX столетия: стремление ко всемирному. Внешний пафос различных движений нашего века – в их конструктивных программах нароудоустройств; но внутренний пафос новейшей истории – в стихийном стремлении ко всемирному.

Интернациональностью своей доктрины и планетарным размахом отличалось самое мощное движение 1-й половины нашего столетия. Ахиллесовой пятой движений, ему противопоставлявшихся – расизма, национал-социализма, – была их узкая националистичность, точнее – узкорасовые или национальные границы тех блаженных зон, химерою которых они прельщали и завораживали. Но к мировому владычеству стремились и они, и притом с колоссальной энергией. Теперь космополитический американизм озабочен тем, чтобы избежать ошибок своих предшественников.

На что указывает это знамение времени? Не на то ли, что всемирность, перестав быть абстрактной идеей, сделалась всеобщей потребностью? Не на то ли, что мир стал неделим и тесен, как никогда? Не на то ли, наконец, что решение всех насущных проблем может быть коренным и прочным лишь при условии всемирных масштабов этого решения?

Деспотические образования планомерно осуществляют при этом принцип крайнего насилия либо хитрым сочетанием методов частично вуалируют его. Темпы убыстряются. Возникают такие государственные громады, на сооружение каких раньше потребовались бы века. Каждое хищно по своей природе, каждое стремится навязать человечеству именно свою власть. Их военная и техническая мощь становится головокружительной. Они уже столько раз ввергали мир в пучину войн и тираний, – где гарантии, что они не ввергнут его еще и еще? И наконец сильнейший победит во всемирном масштабе, хотя бы это стоило превращения трети планеты в лунный ландшафт. Тогда цикл закончится, чтобы уступить место наибольшему из зол: единой диктатуре над уцелевшими двумя третями мира – сперва, быть может, олигархической, а затем, как это обычно случается на втором этапе диктатур, – единоличной. Это и есть угроза, самая страшная из всех, нависавших над человечеством: угроза всечеловеческой тирании.

Сознательно или бессознательно предчувствуя эту опасность, движения гуманистической направленности пробуют консолидировать свои усилия. Они лепечут о культурном сотрудничестве, размахивают лозунгами пацифизма и демократических свобод, ищут призрачного спасения в нейтралитете либо же, испуганные агрессивностью противника, сами вступают на его путь. Бесспорной, всем доверие внушающей цели, то есть идеи о том, что над деятельностью государств насущно необходим этический контроль, не выдвинуло ни одно из них. Некоторые общества, травмированные ужасами мировых войн, пытаются объединиться с тем, чтобы в дальнейшем политическое объединение охватило весь земной шар. Но к чему

теперь привело бы и это? Опасность войн, правда, была бы устранена, по крайней мере временно. Но где гарантии того, что это сверхгосударство, опираясь на обширные нравственно отсталые слои – а таких на свете еще гораздо больше, чем хотелось бы – и расшевеливая неизжитые в человечестве инстинкты властолюбия и мучительства, не перерастет опять-таки в диктатуру и, наконец, в тиранию, такую, перед которой все прежние покажутся забавой?

Знаменательно, что именно религиозные конфессии, раньше всех провозгласившие интернациональные идеалы братства, теперь оказываются в арьергарде всеобщего устремления ко всемирному. Возможно, в этом сказывается характерное для них сосредоточение внимания на внутреннем человеке, пренебрежение всем внешним, а ко внешнему относят и проблему социального устройства человечества. Но если взглянуть глубже, если сказать во всеуслышание то, что говорят обычно лишь в узких кругах людей, живущих интенсивной религиозной жизнью, то обнаружится нечто, не всеми учитываемое. Это возникший еще во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира, это неутолимая тревога за человечество, ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к царству «князя мира сего», к последним катаклизмам истории и к ее катастрофическому перерыву.

Да и в самом деле: где гарантии, что во главе сверхгосударства не окажется великий честолюбец и наука послужит ему верой и правдой, как орудие для превращения этого сверхгосударства именно в ту чудовищную машину мучительства и духовного калечения, о которой я говорю? Можно ли сомневаться, что даже уже и теперь создаются предпосылки для изобретения совершенного контроля за поведением людей и за образом их мышления? Где границы тем кошмарным перспективам, которые возникают перед нашим воображением в результате скрещения двух факторов: террористического единовластия и техники ХХІ столетия? Тирания будет тем более абсолютной, что тогда закроется даже последний, трагический путь избавления: сокрушение тирании извне в итоге военного поражения: воевать будет не с кем, подчинены будут все. И всемирное единство, мечтавшееся стольким поколениям, потребовавшее стольких жертв, обернется своей демонической стороной: своей безвыходностью в том случае, если руководство этим единством возьмут ставленники темных сил.

На горьком опыте человечество убеждается уже и теперь, что ни те социально-экономические движения, шефство над которыми берет голый рассудок, ни достижения науки сами по себе не в состоянии провести человечество между Харибдой и Сциллой – тираниями и мировыми войнами. Хуже того: новые социально-экономические системы, приходя к господству, сами облекаются в механизмы политических деспотий, сами становятся сеятелями и разжигателями мировых войн. Наука превращается в их послушную служанку, куда более послушную и надежную, чем была церковь для феодальных владык. Трагедия коренится в том, что научная деятельность с самого начала не была сопряжена с глубоко продуманным нравственным воспитанием. К этой деятельности допускались все, независимо от уровня их нравственного развития. Неудивительно, что каждый успех науки и техники обращается теперь одной стороной против подлинных интересов человечества. Двигатель внутреннего сгорания, радио, авиация, атомная энергия – все ударяет одним концом по живой плоти народов. А развитие средств связи и технические достижения, позволяющие полицейскому режиму контролировать интимную жизнь и сокровенные мысли каждого, подводят железную базу под вампирические громады диктатур.

Таким образом, опыт истории подводит человечество к пониманию того очевидного факта, что опасности будут предотвращены и социальная гармония достигнута не развитием науки и техники самих по себе, не переразвитием государственного начала, не диктатурой «сильного человека», не приходом к власти пацифистских организаций социал-демократического типа,

качаемых историческими ветрами то вправо, то влево, от бессильного прекраснотвория до революционного максимализма, – но признанием насущной необходимости одного-единственного пути: установления над Всемирной федерацией государств некоей незапятнанной, неподкупной высокоавторитетной инстанции, инстанции этической, внегосударственной и надгосударственной, ибо природа государства внеэтична по своему существу.

Какая же идея, какое учение помогут создать подобный контроль? Какие умы его выработают и сделают приемлемым для громадного большинства? Какими путями придет такая инстанция к общечеловеческому признанию, на высоту, господствующую даже над Федерацией государств, – она, отвергающая насилие? Если же она примет к руководству принцип постепенной замены насилия чем-то другим, то чем же именно и в какой последовательности? И какая доктрина сможет разрешить все возникающие в связи с этим проблемы с их неимоверной сложностью?

Настоящая книга стремится дать, в какой-то мере, на эти вопросы ответ, хотя общая тематика ее шире. Но, подготавливаясь к ответу, следует ясно сформулировать сперва, в чем же это учение видит своего непримиримейшего врага и против чего – или кого – оно направлено.

В историческом плане оно видит своих врагов в любых державах, партиях и доктринах, стремящихся к насильственному порабощению других и к каким бы то ни было формам и видам деспотических народовластий. В метаисторическом же плане оно видит своего врага в одном: в Противобогии, в тиранствующем духе, Великом Мучителе, многообразно проявляющем себя в жизни нашей планеты. Для движения, о котором я говорю, и сейчас, когда оно едва пытается возникнуть, и потом, когда оно станет решающим голосом истории, врагом будет одно: стремление к тирании и к жестокому насилию, где бы оно ни возникало, хотя бы в нем самом. Насилие может быть признано годным лишь в меру крайней необходимости, только в смягченных формах и лишь до тех пор, пока наивысшая инстанция путем усовершенствованного воспитания не подготовит человечество при помощи миллионов высокоинтеллектуальных умов и волею к замене принуждения – добровольностью, окриком внешнего закона – голосом глубокой совести, а государства – братством. Другими словами, пока самая сущность государства не будет преобразована, а живое братство всех не сменит бездушного аппарата государственного насилия.

Не обязательно надо предполагать, что подобный процесс займет непременно огромный отрезок времени. Исторический опыт великих диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью охватывавших население громадных стран единой, строго продуманной системой воспитания и образования, неопровержимо доказал, какой силы рычаг заключен в этом пути воздействия на психику поколений. Поколения формировались все ближе к тому, что представлялось желательным для властей предрешающих. Нацистская Германия, например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, ничего, кроме гнева и омерзения, не могут вызвать в нас ее идеалы. Не только идеалы – даже методика ее должна быть отринута нами почти полностью. Но рычаг, ею открытый, должен быть взят нами в руки и крепко сжат. Приближается век побед широкого духовного просвещения, решающих завоеваний новой, теперь еще едва намечаемой педагогики. Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в ее распоряжение, в них формировалось бы поколение, способное к выполнению долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творческого импульса и любви. В этом и заключен смысл воспитания человека облагороженного образа.

Мне представляется международная организация, политическая и культурная, ставящая своей целью преобразование сущности государства путем последовательного осуществления всеохватывающих реформ. Решающая ступень к этой цели – создание Всемирной федерации

государств как независимых членов, но с тем, чтобы над Федерацией была установлена особая инстанция, о которой я уже упоминал: инстанция, осуществляющая контроль над деятельностью государств и руководящая их бескровным и безболезненным преобразованием изнутри. Именно бескровным и безболезненным: в этом все дело, в этом ее отличие от революционных доктрин прошлого.

Какова будет структура этой организации, каково ее наименование – предугадывать это мне представляется преждевременным и ненужным. Назовем ее пока условно, чтобы не повторять каждый раз многословных описаний, Лигой преобразования сущности государства. Что же до ее структуры, то те, кто станут ее организаторами, будут и опытнее, и практичнее меня: это будут общественные деятели, а не поэты. Могу только сказать, что лично мне рисуется так, что Лига должна располагать своими филиалами во всех странах, причем каждый филиал обладает несколькими аспектами: культурным, филантропическим, воспитательным, политическим. Такой политический аспект каждого филиала превратится, структурно и организационно, в национальную партию Всемирной религиозной и культурной реформы. В Лиге и Лигой все эти партии будут связаны и объединены.

Как именно, где и среди кого произойдет формирование Лиги, я, конечно, не знаю и знать не могу. Но ясно, что период от ее возникновения до создания Федерации государств и этической инстанции над ними должен рассматриваться как период подготовительный, период, когда Лига будет отдавать все силы распространению своих идей, формированию своих рядов, расширению организации, воспитанию подрастающих поколений и созданию внутри себя той будущей инстанции, которой со временем может быть доверена всемирная руководящая роль.

Устав Лиги не может препятствовать пребыванию в ее рядах людей различных философских и религиозных убеждений. Требуется лишь готовность деятельно участвовать в осуществлении ее программы и решимость не нарушать ее моральных установлений, принятых как краеугольная плита.

Во всех превратностях общественной жизни и политической борьбы успехи Лиги должны достигаться не ценой отступления от ее нравственного кодекса, а именно вследствие верности ему. Ее репутация должна быть незапятнанной, бескорыстие – не подлежащим сомнению), авторитет – возрастающим: ибо в нее будут стекать и ее непрерывно укреплять лучшие силы человечества.

Вероятнее всего, что путь ко всемирному объединению ляжет через лестницу различных ступеней международной солидарности, через объединение и слияние региональных содружеств; последней ступенью такой лестницы представляется всемирный референдум или плебисцит – та или иная форма свободного волеизъявления всех. Возможно, что он приведет к победе Лиги лишь в отдельных странах. Но за нее будет сам исторический ход вещей. Объединение хотя бы половины земного шара довершит глубокий сдвиг в сознании народов. Состоится второй референдум, может быть третий, и десятилетием раньше или позже границы Федерации совпадут с границами человечества. Тогда откроется практическая возможность к осуществлению цепи широких мероприятий ради превращения конгломерата государств в монолит, постепенно преображаемый двумя параллельными процессами: внешним – политико-социально-экономическим и внутренним – воспитательно-этико-религиозным.

Ясно из всего этого, что деятели Лиги и ее национальных партий смогут бороться только словом и собственным примером и только с теми идеологиями и доктринами, которые стремятся расчистить путь для каких бы то ни было диктатур или поддержать эти диктатуры у кормила власти. Своих исторических предшественников, хотя и действовавших в узконациональных масштабах. Лига увидит в великом Махатме Ганди и в партии, вдохновлявшейся им. Первый в новой истории государственный деятель-праведник, он утвердил

чисто политическое движение на основе высокой этики и опроверг ходячее мнение, будто политика и мораль несовместимы. Но национальные рамки, в которых действовал Индийский национальный конгресс, Лига раздвинет до планетарных границ, а цели ее – следующая историческая ступень или ряд ступеней по сравнению с теми, какие ставила себе великая партия, освободившая Индию.

О, конечно найдется немало людей, которые станут утверждать, будто методика Лиги – непрактична и нереальна. Ах уж мне эти поборники политического реализма! Нет безнравственности, нет социальной гнусности, которая не прикрывалась бы этим жалким фиговым листком. Нет груза более мертвенного, более приземляющего, чем толки о политическом реализме как противовесе всему крылатому, всему вдохновенному, всему духовному. Политические реалисты – это, между прочим, и те, кто в свое время уверял, даже в самой Индии, что Ганди – фантаст и мечтатель. Им пришлось стиснуть зубы и прикусить язык, когда Ганди и его партия именно на пути высокой этики добились освобождения страны и повели ее дальше, к процветанию. Не ко внешнему процветанию, которое порошит людям глаза черной пылью цифр о росте добычи угля или радиоактивным пеплом от экспериментальных взрывов водородных бомб, а к процветанию культурному, этическому и эстетическому – процветанию духовному, неспешно, но прочно влекущему за собой и процветание материальное.

Обвинять Лигу в нереальности методов будут также те, кто не способен видеть лучшее в человеке; чья психика огрубела, а совесть захирела в атмосфере грубого государственного произвола. К ним присоединятся и те, кто не предвидит, какие сдвиги массового сознания ждут нас в недалекие уже годы. Травмированность войнами, репрессиями и всевозможными насилиями даже теперь вызывает широкое движение за сосуществование и за мир. Постоянно совершаются и будут совершаться события, разрушающие чувство безопасности, не оставляющие ничего от уюта и покоя, подрывающие корни доверия к существующим идеологиям и к охраняемому ими порядку вещей. Разоблачение неслыханных ужасов, творившихся за помпезными фасадами диктатур, наглядное уяснение, на чем воздвигались и чем оплачивались их временные победы, их внешние успехи – все это иссушает душу как раскаленный ветер, и духовная жажда делается нестерпима. Об отстранении угрозы великих войн; о путях к объединению мира без кровопролитий; о светоносце-праведнике, грядущем возглавить объединенное человечество; об ослаблении насилия государств и о возрастании духа братства – вот о чем молятся верующие и мечтают неверующие в наш век. И вероятно в высшей степени, что мирообъемлющее крылатое учение – и нравственное, и политическое, и философское, и религиозное – претворит эту жажду поколения во всенародный творческий энтузиазм.

То обстоятельство, что последнее крупное религиозное движение в человечестве – протестантская Реформация – имело место четыреста лет назад, а последняя религия мирового значения, ислам, насчитывает уже тринадцать веков существования, – выдвигается иногда как аргумент в пользу мнения, что религиозная эра в человечестве завершилась. Но о потенциальных возможностях религии как таковой, а не отдельных форм ее судить следует не по тому, как давно возникли последние крупные ее формы, а по тому, зашла ли эволюция религии в тупик, имеется ли возможность сочетать религиозную творческую мысль с бесспорными тезисами науки, а также еще и по тому, брезжут ли перед таким мировоззрением перспективы осмысления жизненного материала новых эпох и возможно ли действенное и прогрессивное влияние религии на этот материал.

Действительно, с последнего крупного религиозного движения международного размаха прошло около четырехсот лет. Но ведь и перед протестантской Реформацией подобных движений не было много столетий. Да и в этом ли дело? Разве еще не ясно, что определенное русло идейной, творческой работы человечества в последние века вбирало в себя почти все его

духовные и умственные силы? Трудно было бы ожидать, чтобы, осуществляя такой стремительный прогресс – научный, технический и социальный, создавая такие культурные ценности, как литература, музыка, философия, искусство и наука последних веков, человечество нашло бы в себе силы одновременно творить еще и универсальные религиозные системы.

Но рубеж XX века как раз и явился той эпохой, когда закончился расцвет великих литератур и искусств, великой музыки и философии. Область социально-политического действия вовлекает в себя – и чем дальше, тем определенной – не наиболее духовных представителей человеческого рода, а как раз наименее духовных. Образовался гигантский вакуум духовности, не существовавший еще пятьдесят лет назад, и гипертрофированная наука бессильна его заполнить. Если позволительно подобрать такое выражение, колоссальные ресурсы человеческой гениальности не расходуются никуда. Это и есть то лоно творческих сил, в котором зреет predetermined к рождению всечеловеческая интеррелигия.

Сможет ли религия – не старинные ее формы, а та религия итога, которой ныне чреват мир, предотвратить наиболее грозные из нависших над человечеством опасностей: всемирные войны и всемирную тиранию? – Предотвратить ближайшую мировую войну она, вероятно, не в состоянии: если третья война вспыхнет, то произойдет это бедствие, вероятно, раньше, чем даже успеет возникнуть Лига. Но в предотвращении всех войн, опасность которых будет возникать после того, как сформируется ядро грядущей интеррелигии, так же как и в предотвращении всемирной тирании, – ее ближайшая цель. Может ли эта религия достичь наибольшей гармонии между свободой личности и интересами человечества, какая только мыслима на данном этапе истории? – Но это лишь другой аспект той же самой ее ближайшей цели. Будет ли она способствовать всестороннему развитию заложенных в человеке творческих способностей? – Да, кроме способностей демонических, то есть способностей к тиранствованию, мучительству и к самоутверждению за счет остальных живых существ. Требуется ли она для своего торжества кровавых жертв, как другие движения всемирной направленности? – Нет, исключая те случаи, когда ее проповедникам придется, может быть, собственной кровью засвидетельствовать свою верность идее. Противоречат ли ее тезисы – не философской доктрине материализма (ей-то они, конечно, противоречат во всех пунктах от А до Я), а объективным и общеобязательным тезисам современной науки? – Ни в одной букве или цифре. Можно ли предвидеть установление в эпоху ее гегемонии такого режима, когда инакомыслие будет преследоваться, когда она будет навязывать свои догматы философии, науке, искусству? – Как раз наоборот: от частичных ограничений свободы мысли – вначале, к неограниченной свободе мысли – потом: таков предлагаемый ею путь. – Что же остается от аргумента, что религия не способна ответить на насущные вопросы времени, а тем более – практически разрешить их?

С полным правом и основанием такой упрек может быть брошен не религии, а, увы, науке. Как раз именно система взглядов, которая не выглядывает ни вправо, ни влево за пределы того, что очерчивается современным научным знанием, не способна дать ответа на самые коренные, самые элементарные вопросы. – Существует ли Первопричина, Творец, Бог? Неизвестно. – Существует ли душа или что-либо подобное ей, и бессмертна ли она? Этого наука не знает. – Что такое время, пространство, материя, энергия? Об этом мнения резко расходятся. – Вечен ли и бесконечен мир или, напротив, ограничен во времени и в пространстве? Материала для твердого ответа на эти вопросы у науки не имеется. – Ради чего я должен делать добро, а не зло, если зло мне нравится, а от наказания я могу уберечься? Ответы невразумительны совершенно. – Как воспользоваться наукой, чтобы предотвратить возможность войн и тираний? Молчание. – Как достичь, с наименьшим числом жертв, социальной гармонии? Выдвигаются взаимоисключающие предложения, сходные только в одном: в том, что все они в равной мере не имеют отношения к строгой науке. Естественно, что на таких шатких, субъективных,

действительно псевдонаучных основаниях возникали лишь учения классового, расового, национального и партийного эгоизма, то есть как раз те, чье призвание заключается в оправдании диктатур и войн. Низкий уровень духовности – отличительная черта подобных учений. Следовательно, искомая этическая инстанция может быть построена на основе не так называемого научного мировоззрения – такого, в сущности, и не существует, – а на приобщении к духовному миру, на восприятии лучей, льющихся оттуда в сердце, разум и совесть, и на осуществлении во всех сферах жизни завета деятельной и творческой любви. Нравственный уровень, вполне отвечающий перечисленным признакам, называется праведностью.

Распространен еще и другой предрассудок: взгляд на религию как на явление, реакционное по своему существу, а тем более в нашу эпоху. Но говорить о реакционности или устарелости религии вообще, безотносительно к ее конкретным формам, так же бессмысленно, как доказывать реакционность искусства вообще или философии вообще. Тот, кто мыслит динамически, кто видит эволюционирующие ряды фактов и процессы, которыми формируются эти ряды, тот сумеет и в искусстве, и в религии, и в любой области человеческой деятельности разглядеть наличие реакционных и прогрессивных форм. Реакционных форм религии можно встретить сколько угодно и даже больше, чем нам хотелось бы, но это не имеет никакого касательства к той рождающейся религии итога, которой эта книга посвящена. Ибо в нашем столетии не было и нет ни более прогрессивных целей, ни более прогрессивных методов, чем те, которые слиты воедино с этой религией. Что же до претензий научного метода на некое верховенство, то научный метод столь же бессилён вытеснить из жизни методы художественный и религиозный в широком смысле слова, как и его самого не могла в свое время вытеснить агрессивная религиозность. Потому что методы эти различествуют между собой не только в том, как, но и в том, что ими познается. В прошлом столетии, под впечатлением стремительного прогресса в науке и технике, пророчили гибель искусства. Прошито сто лет, и соцветие искусств не только не погибло, но обогатилось еще одним: искусством кино. Сорок или тридцать лет назад многим в России казалась неизбежной гибель религии вследствие прогресса научного и социального. И однако же соцветие религий не только не погибло, несмотря на все средства, ради этого мобилизованные, но именно под влиянием научного и социального прогресса обогащается тем, что сделает мировую религиозность вместо сочетания разрозненных лепестков целокупным и единым духовным цветком – Розою Мира.

Из всего вышесказанного вытекает, что религиозное движение, которое включит в свое мирозерцание и практику положительный опыт человечества, а из отрицательного сделает выводы, требующие слишком много мужества и прямоты, чтобы быть сделанными на путях других течений общественной мысли; движение, которое ставит своими ближайшими целями преобразование государства в братство, объединение земли и воспитание человека облагороженного образа; движение, которое предохранит себя от искажения идеала и методики нерушимой броней высокой нравственности, – такое движение не может не быть признано прогрессивным, перспективным и творчески молодым.

Броней нравственности! Но на каких основах может создаваться такая нравственность? Я говорил о праведности. Но разве не утопия праведность целых общественных кругов, а не единиц?

Следует уточнить, что понимается здесь под праведностью. Праведность не есть непременно плод монашеской аскезы. Праведность есть высшая ступень нравственного развития человека; тот, кто ее превысил, уже не праведник, а святой. Формы же праведности разнообразны; они зависят от времени, места и человеческого характера. Можно сказать обобщенно: праведность – в негативном аспекте – есть такое состояние человека, устойчивое и оканчивающееся только с его смертью, при котором его воля освобождена от импульсов

себялюбия, разум – от захваченности материальными интересами, а сердце – от кипения случайных, мутных, принижающих душу эмоций. В позитивном же аспекте – праведность есть проникание деятельной любовью к Богу, людям и миру всей внешней и внутренней деятельности человека.

Вряд ли психологический климат для возникновения нравственной инстанции, основанной именно на праведности, может быть где-либо подготовлен лучше, чем в обществе, объединившемся в чаянии ее возникновения и в этом видящем свой смысл и цель. Но как раз таким обществом должна быть Лига. В числе ее членов могут оказаться даже атеисты. Но основной тезис Лиги – необходимость превыше государств всемирной этической инстанции; именно он сплотит наиболее одушевленных, творческих, деятельных и одаренных членов ее в ядро. Ядро, для которого характерна атмосфера неустанного духовного созидания, деятельной любви и чистоты. Ядро, состоящее из людей, достаточно просвещенных, чтобы понимать не только опасность, грозящую каждому из них вследствие разнуздания импульсов самости, но и опасность того слишком внешнего понимания религиозно-нравственных ценностей, которое приводит к этическому формализму, лицемерию, душевной черствости и ханжеству.

Никто, кроме Господа Бога, не знает, где и когда затеплится первый огонь Розы Мира. Страна – Россия – только предрекана; еще возможны трагические события, которые осложнят совершение этого мистического акта и принудят перенести его в другую страну. Эпоха – шестидесятые годы нашего века – только намечена; возможны гибельные катаклизмы, которые отодвинут эту дату на длительный ряд лет. Возможно, что средой, где затеплится первый пламень, окажется не Лига преобразования сущности государства, а иной, сейчас еще не предугаданный круг людей. Но там ли, здесь ли, в этой стране или в другой, раньше на десятилетие или позже, интеррелигиозная, всечеловеческая церковь новых времен, Роза Мира, явится как итог духовной деятельности множества, как соборное творчество людей, ставших под низливающийся поток откровения, – явится, возникнет, вступит на исторический путь.

Религия, интеррелигия, церковь – нужной точности я не могу достигнуть при помощи ни одного из этих слов. Ряд коренных ее отличий от старых религий и церквей со временем принудит выработать в применении к ней слова иные. Но и без того предстоит вводить в кругооборот эту книгу столь обширный запас новых слов, что здесь, в самом начале, предпочтительнее прибегнуть не к этим словам, а к описательному определению отличительных черт того, что должно именоваться Розою Мира.

Это не есть замкнутая религиозная конфессия, истинная или ложная. Это не есть и международное религиозное общество вроде теософического, антропософского или масонского, составленного, наподобие букета, из отдельных цветов религиозных истин, эклектически сорванных на всевозможных религиозных лугах. Это есть интеррелигия или панрелигия в том смысле, что ее следует понимать как универсальное учение, указующее такой угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовной реальности, различных рядов нематериальных фактов, различных сегментов планетарного космоса¹. Этот угол зрения обнимает Шаданакар как целое и как часть божественного космоса вселенной. Если старые религии – лепестки, то Роза Мира – цветок: с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков.

Второе отличие: универсальность устремлений Розы Мира и их историческая конкретность. Задачу преобразования социального тела человечества не ставила перед собой ни одна религия, исключая средневековый католицизм. Но и папство, упорно старавшееся замкнуть феодальный хаос дамбами иерократии, не сумело ни ослабить эксплуатацию неимущих имущими, ни уменьшить широкими реформами социальное неравенство, ни повысить общее благосостояние. Впрочем, обвинять в этом ведущую католическую иерархию было бы несправедливостью: для

подобных преобразований еще не было материальных средств, ни экономических, ни технических. Не случайно зло мира ощущалось испокон веков и вплоть до нового времени неустранимым и вечным, и католицизм, по существу, обращался, как и остальные религии, лишь к «внутреннему человеку», учил личному совершенствованию. Но времена изменились, материальные средства появились, и заслуга всего исторического процесса, а не самой Розы Мира в том, что она сможет теперь смотреть на социальные преобразования не как на внешнее, обреченное на неудачу и не заслуживающее усилий, но ставить их в неразрывную связь с совершенствованием внутреннего мира человека: теперь это два параллельных процесса, которые должны друг друга восполнять. Нередко слышишь: «Христианство не удалось». Да, если бы оно все было в прошлом, можно было бы говорить, что в социальном и всемирно-нравственном отношении оно не удалось. «Религия не удалась». Да, если бы религиозное творчество человечества исчерпалось тем, что уже создано, религия в только что упомянутом смысле действительно не удалась бы. А пока справедливо говорить об этом только так: добиться существенного уменьшения социального зла старые религии не могли, так как не располагали необходимыми для этого материальными средствами, и отсутствие этих средств вызвало их отрицательное отношение ко всем подобным попыткам. Этим был подготовлен безрелигиозный этап цивилизации. В XVIII веке пробудилась социальная совесть. Социальная дисгармония была наконец почувствована и осознана как нечто недопустимое, оскорбляющее, требующее преодоления. Конечно, это находилось в связи с тем, что начали появляться недостававшие для этого материальные средства. Но старые религии не сумели этого понять, не захотели этими средствами воспользоваться, не пожелали возглавить процесс социального преобразования, и именно в этой косности, в этой умственной лени, в этой идейной неподвижности и узости – их тягчайшая вина. Религия дискредитировала себя своей вековой беспомощностью в этом отношении, и не приходится удивляться противоположной крайности, в которую впала Европа, а затем и другие континенты: преобразованию общества чисто механическими средствами при полном отказе от духовной стороны того же процесса. Нечего, конечно, удивляться и итогу: потрясениям, каких не видал мир, масштабам жертв, какие никогда не рисовались даже в бреду, и такому снижению этического уровня, самая возможность которого в XX веке представляется до сих пор многим мрачной и трагической загадкой. На старые религии падает в значительной степени ответственность за глубину и упорство последующего безрелигиозного этапа, за духовную судьбу миллионов душ, которые, ради борьбы за справедливое мироустройство, противопоставили себя религии вообще и этим вырвали корни своего бытия из лона мировой духовности. Но истинная религиозная деятельность есть своего рода общественное служение, а истинное общественное служение есть в то же время религиозная деятельность. Никакое религиозное делание, даже подвиг инока, не может быть изолировано от общего, от труда на пользу всемирного просветления; и никакая общественная деятельность, кроме демонической, не может не влиять на увеличение суммы мирового добра, то есть не иметь религиозного смысла. Биение социальной совести, действенное социальное сострадание и сорадование, неустанные практические усилия ради преобразования общественного тела человечества – вот второе отличие Розы Мира от старинных религий.

Третье отличие: динамичность ее воззрений. Религии, не чуждые представлениям о метаистории, уже были: иудаизм, раннее христианство, но лишь в далекие от нас и притом короткие периоды своего становления они пытались духовно осмыслить текущий исторический процесс. В те короткие, полузабытые эпохи поразительные прозрения Апокалипсиса оставались прикрытыми от глаз людей покровом иносказаний и недомолвок; шифр образов допускал всевозможные толкования. Подлинного осмысления исторического процесса так и не состоялось. Исторический опыт был еще мал и узок, географический кругозор ничтожен,

мистический разум не был подготовлен к постижению внутренних закономерностей метаистории и невероятной сложности Шаданакара. Но явлению Розы Мира предшествовала эра гегемонии науки, в самых корнях потрясая представление о вселенной, о народах, культурах и их судьбе. Предшествовало ей и другое: эпоха коренных сдвигов и сбросов социальных, эпоха революций и планетарных войн. Оба ряда явлений взрыхлили психологические пласты, столько веков пребывавшие в неподвижности. В почву, взрытую железными зубьями исторических катастроф, падают семена метаисторического откровения. И приоткрывается духовному взору весь планетарный космос как непрерывно меняющаяся система разнозначных миров, бурно несущаяся к ослепительной цели, одухотворяющаяся и преобразующаяся от века к веку, ото дня ко дню. Начинают сквозить ряды предстоящих эпох, каждая – во всем своем неповторимом своеобразии, в переплетении борющихся в ней метаисторических начал. Стремление Розы Мира – в том, чтобы стать восприимчивой, умножительницей и толковательницей этого познания. Соборный мистический разум живущего человечества, она будет осмыслять исторический процесс в его прошлом, настоящем и будущем, чтобы вступить в творческое руководство им. Если и можно будет говорить о каких-либо догматах в ее учении, то это догматика глубоко динамичная, многоаспектная, способная к дальнейшему обогащению и развитию, к длительному совершенствованию.

Отсюда вытекает и еще одно, четвертое, отличие Розы Мира: перспектива последовательных, стоящих перед нею духовно-исторических задач, вполне конкретных и принципиально осуществимых. Перечислю еще раз ближайшие из них: объединение земного шара в Федерацию государств с этической контролирующей инстанцией над нею, распространение материального достатка и высокого культурного уровня на население всех стран, воспитание поколений облагороженного образа, воссоединение христианских церквей и свободная уния со всеми религиями светлой направленности, превращение планеты – в сад, а государств – в братство. Но это – задачи лишь первой очереди. Их осуществление откроет путь к разрешению задач еще более высоких: к одухотворению природы.

Итак: интеррелигиозность, универсальность социальных стремлений и их конкретность, динамичность воззрений и последовательность всемирно-исторических задач – вот черты, отличающие Розу Мира от всех религий и церквей прошлого. Бескровность ее дорог, безболезненность ее реформ, доброта и ласка в отношении к людям, волны душевного тепла, распространяемые вокруг, – вот черты, отличающие ее от всех политико-социальных движений прошлого и настоящего.

Ясно, что сущность государства, равно как и этический облик общества, не может быть преобразована в мгновение ока. Сразу же полный отказ от принуждения – утопия. Но этот элемент будет убывать во времени и в общественном пространстве. Всякая дисциплина складывается из элементов принуждения и сознательности, и от соотношения между собою этих двух элементов зависит тот или иной род дисциплины. Наибольшим процентом принуждения и почти полным отсутствием сознательности обладает дисциплина рабовладельческих хозяйств, тюрем и концентрационных лагерей. Немного больше процент сознательности в воинской муштре. И дальше, по мере ослабления в дисциплинарных системах элемента принуждения, возрастает и заменяет его собой категорический императив внутренней самодисциплины. На воспитании именно этого импульса построится вся новая педагогика. О ее принципах и методах, как и о методах перевоспитания и возрождения преступников, речь пойдет еще не скоро – в одной из последних глав. Но ясно, думается, уже и теперь, что стимул внешнего принуждения быстрее всего будет отмирать во внутренних концентрических кругах Розы Мира: ибо именно людьми, целиком спаявшими свою жизнь с ее задачами и с ее этикой и уже не нуждающимися во внешнем принуждении, наполнятся эти внутренние круги. Именно такие люди будут являться

ее совестью, и кем же, как не ими, должны быть заняты кресла Верховного Собора?

Да и можно ли переоценить воспитательное значение таких общественных устройств, когда на вершине общества руководят и творят достойнейшие: не те, чье волевое начало гипертрофировано за счет других способностей души и чья сила заключается в неразборчивом отношении к средствам, но те, в ком гармонически развитая воля, разум, любвеобилие, чистота помыслов и глубокий жизненный опыт сочетаются с очевидными духовными дарами: те, кого мы называем праведниками. Совсем недавно мы видели тому пример: мы видели роковую годину Индии и великого духом Ганди. Мы видели потрясающее зрелище: человек, не обладавший никакой государственной властью, в подчинении которого не было ни одного солдата, даже ни одного личного слуги, не имевший крова над головой и ходивший в набедренной повязке, стал совестью, стал духовным и политическим вождем трехсот миллионов человек, и одного его тихого слова было достаточно, чтобы эти миллионы объединялись в общей бескровной борьбе за освобождение своей страны, а пролитие крови врага влекло за собой всеиндийский пост и траур. Нетрудно представить себе, как трагически исказился бы исторический путь индийского народа, если бы вместо этого подвижника в решающую минуту выдвинулся в качестве вождя человек односторонне-волевого типа, вроде Муссолини или Сталина, – так называемая «сильная личность», мастер демагогии и политической интриги, маскирующий свою сущность деспота тирадами о народном благе! Как блестяще играл бы он на низших инстинктах народа, на естественной ненависти к завоевателям, на зависти к богатым; какие волны огня и крови заходили бы по Индии, затопляя острова высокого этического сознания, тысячи лет укреплявшиеся и лелеемые лучшими сынами великого народа! И какая тирания воздвиглась бы в итоге над истерзанною страной, пользуясь склонностью к повиновению, созданною веками рабства!.. Ганди направил освободительный и созидательный энтузиазм нации по другому пути. Вот первый в новейшей истории пример той силы, которая постепенно заменит меч и кнут государственной власти. Эта сила – живое доверие народа к тому, кто доказал свою нравственную высоту; это – авторитет праведности.

Предвижу множество возражений. Одно из них таково: да, это было возможно в Индии, с ее неповторимыми особенностями, с четырехтысячелетним религиозным прошлым, с этическим уровнем ее народа. У других народов другое наследие, и опыт Индии ни на какую другую страну перенесен быть не может.

Верно, у каждого народа свое наследие. И наследие Индии привело к тому, что ее народ стал пионером на этой дороге. Но почти каждый народ видел у себя или рядом с собой диктатуры и тирании всевозможных окрасок, разнообразной идеологической маскировки, и каждый мог убедиться, в пучину каких катастроф увлекает страну слепая власть, не просветленная праведностью, не отвечающая даже требованиям среднего нравственного уровня. А ведь государственное водительство – это подвиг, и средний нравственный уровень для этого мал. Многие народы убедились и в этом, потому что там, где вместо диктаторов чередуются политические партии, там сменяются, точно в калейдоскопе, дипломаты и генералы, боссы и адвокаты, демагоги и дельцы, одни – своекорыстнее, другие – идейнее, но ни один не способен вдохнуть в жизнь новый, чистый и горячий дух, разрешить насущные всенародные проблемы. Ни одному из них никто не может доверять больше, чем самому себе, потому что ни один из них даже не задумывался о том, что такое праведность и духовность. Это – снующие тени, опавшие листья, подхваченные ветром истории. Если Роза Мира не выйдет вовремя на всечеловеческую арену, они будут развеяны огненным дыханием волевых и безжалостных диктатур; если же Роза Мира появится – они растворятся, растают под восходящим солнцем великой идеи, потому что сердце народа доверяет одному праведнику больше, чем сотне современных политиков.

Но еще могущественнее и светлее будет воздействие на народ и его судьбу, если три

наивысших одаренности – праведность, дар религиозного вестничества и художественная гениальность совместятся в одном человеке.

Много, о, много проявлений религии относится целиком к ее минувшим стадиям. Одно из таких проявлений, по-видимому, – и власть над умами строго очерченных, аподиктически выраженных, не подлежащих развитию, статуарных догм. Опыт последних веков и рост личности привели к тому, что создание человека ощущает условность и тесноту любой догматики. Следовательно, сколь адогматичными ни были бы тезисы Розы Мира, сколь бы ни были они проникнуты духом религиозной динамики, но весьма многие затруднятся принять даже их. Зато множества и множества откликнутся на ее зов, коль скоро он будет обращен не столько к интеллекту, сколько к сердцу, звуча в гениальных творениях слова, музыки, театра, архитектуры. Образы искусства емче и многоаспектнее, чем афоризмы теософем или философские рассуждения. Они оставляют больше свободы воображению, они предоставляют каждому толковать учение так, как это органичнее и понятнее именно для его индивидуальности. Откровение льется по многим руслам, и искусство – если и не самое чистое, то самое широкое из них. Поэтому все виды искусства и прекрасный культ оденут Розу Мира звучащими и сияющими покровами. И поэтому же во главе Розы Мира естественнее всего стоять тому, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности.

Может быть, такой человек не придет или придет не скоро. Возможно, что Розу Мира будет возглавлять не он, а коллектив достойнейших. Но если бы Провидение направило такую великую душу в наш век – а Оно ее уже направило – и демонические силы не сумели бы устранить ее, – это было бы для всей земли величайшим счастьем. Потому что более могучего и светлого воздействия на человечество, чем воздействие гениального художника слова, ставшего духовидцем и праведником и возведенного на высоту всемирного руководства общественными и культурными преобразованиями, не может оказать никто. Именно такому человеку и только такому может быть вверен необычайный и небывалый в истории труд: этический контроль над всеми государствами Федерации и водительство народами на пути преобразования этих государств во всечеловеческое братство.

О, мы, русские, жестоко поплатились за безусловное доверие, оказанное сильному человеку, принятому многими из нас за благодетеля человечества. Не повторим этой ошибки! Есть безусловные признаки, отличающие человека, достойного подобной миссии, от злого гения народа. Последний сумрачен; первый – весел духовным веселием. Один укрепляет свою власть казнями и карами; другой не станет домогаться власти ни в один из дней своей жизни, а когда примет ее – не прольет ничьей крови. Один насаждает по всей земле, ему подвластной, культ своей личности; другому отвратительно и смешно его прославление. Один – недоступен, другой – открыт всем. Один обуреваем неистовой жадью жизни и власти и прячется от воображаемых опасностей за непроницаемыми стенами; другой – свободен от жизненных искушений, а перед лицом опасности спокоен, потому что совесть его чиста, а вера непоколебима. Это – два антипода, посланцы двух непримиримых начал.

Конечно, в Верховном Соборе такой избранник был бы лишь первым среди равных. Он опирался бы во всем на сотрудничество множества, и этим множеством была бы контролируема его собственная деятельность. На свой необычайный пост он мог бы прийти только сквозь строгий искуc. Такому сану не может соответствовать ни молодость, ни даже зрелый возраст; лишь старость. Искушения и борьба страстей должны быть давно изжиты. Что до самого избрания, то оно, мне кажется, могло бы быть осуществлено лишь через тот или иной вид плебисцита. Да и в годы правления верховного наставника Собор следил бы за его действиями. Уклонение его от пути влекло бы передачу власти достойнейшему. Вообще все связанные с этим

вопросы могли бы быть тщательно продуманы, опасности предусмотрены, решения внимательно взвешены и впоследствии усовершенствованы. Но пока верховный наставник будет следовать неукоснительно по предназначенной стезе, он – мистическая связь между живущим человечеством и миром горним, проявитель Провиденциальной воли, совершенствователь миллиардов и защитник душ. В руках такого человека не страшно соединить полноту духовной и гражданской власти.

Скажут: подобные люди появляются по одному в пятьсот лет. А я скажу больше: личности такого масштаба и обладающей при этом суммой именно таких свойств, раньше не могло быть никогда. Эйнштейн не мог бы появиться среди маори XIX века; Достоевского – такого, каким мы его знаем, напрасно было бы надеяться найти среди подданных Тутанхамона или Теодориха. Тогда он обладал бы другой суммой свойств, а многие из них не имел бы возможности проявить в жизни. Такой человек, о каком я говорю, даже в недалекую от нас эпоху не мог бы осуществить врученные ему дары, и современники остались бы в полном неведении относительно его истинных масштабов и потенций. Нужные условия, по-видимому, уже намечаются наступающей ныне эпохой; Роза же Мира досоздаст их так, чтобы атмосфера общественная и культурная обеспечила верховному наставнику цепь преемников, достойных этого венца.

Могут сказать также: даже всех перечисленных дарований мало для такой необычайной деятельности; надо обладать широким, трезвым и практичным государственным умом. Да, еще бы. Такому деятелю придется соприкасаться с тысячами разнообразных проблем; потребуются и знания, и опыт, и эрудиция – экономическая, финансовая, юридическая, даже техническая. Но век Аристотелей давно миновал; умы энциклопедического охвата немыслимы в наше время. И деятельность того, о ком я говорю, столь же немыслима в отрыве от соборного разума, от Верховного Собора. В ней будут участвовать самые глубокие умы, люди, умудренные в превратностях государственной жизни, специалисты всех отраслей знания. Не энциклопедическая эрудиция и не приземистый хозяйственный смысл потребуются от верховного наставника, но мудрость. Мудрость, которая понимает людей с первого взгляда, которая в самых сложных вопросах сразу находит их существо и которая ни на миг не делается глуха к голосу совести. Верховный наставник должен стоять на такой моральной высоте, чтобы любовь и доверие к нему заменяли бы другие методы властвования. Принуждение, насилие над чужою волей мучительны для него; он пользуется ими лишь в редчайших случаях.

И все же это лишь один из вариантов возможного, хотя, на мой личный взгляд, наиболее желательный. Вполне представимо и другое: такое руководство Розой Мира, такое соотношение его с законодательными учреждениями и с правительством Федерации, при котором принцип коллективности не будет ограничен ни в чем и никем. Время разрабатывать конституцию будущего – в далеком будущем, и не нам, а счастливым потомкам придется выбирать из многих вариантов один.

Но уж не теократия ли это? – Я не люблю слово «теократия». Теократия есть боговластие; применять его к каким бы то ни было общественным и государственным устройствам абсурдно – с точки зрения атеиста, кощунственно – с точки зрения верующего. Никакой теократии история не знает и знать не может. Не теократией, а иерократией, властью духовенства, следует называть церковное государство пап или далай-лам. А тот строй, о котором я говорю, прямо противоположен всякой иерократии: не церковь растворяется в государстве, поглотившем ее и от ее имени господствующем, но и весь конгломерат государств, и сонм церквей постепенно растворяются во всечеловеческом братстве, в интеррелигиозной церкви. И не высшие иерархи церкви занимают кресла в высших органах, законодательных, исполнительных и контролирующих, но лучшие представители всех народов, всех конфессий, всех общественных слоев, всех специальностей.

Не иерократия, не монархия, не олигархия, не республика: нечто новое, качественно отличное от всего, до сих пор бывшего. Это – всемирное народоустройство, стремящееся к освящению и просветлению всей жизни мира. Я не знаю, как его назовут тогда, но дело не в названии, а в сути. Суть же его – труд во имя одухотворения человека, одухотворения человечества, одухотворения природы.

ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ

Мало-помалу новое отношение возникает ко всему: существование Розы Мира не имело бы и тени смысла, если бы она лишь повторяла то, что было сказано раньше. Новое отношение к себе, новое осмысление вызывается буквально всеми явлениями, от великих до малых: процессом космическим и процессом историческим, мировыми законами и связью между разноматериальными мирами, человеческими отношениями и путями развития личности, государствами и религиями, животным царством и стихиями – словом, всем тем, что мы объединяем в понятии «культура» и всем, что объединяем в понятии «природа». Новое отношение возникает ко всему, но это не значит, что всякое старое отношение обесценивается или опорочивается: во многих случаях лишь указывается такой угол зрения, под которым различные отношения прошлого могут перестать контрастировать друг друга, начинают друг друга дополнять и должны читаться как различные ряды аспектов одной и той же или многих реальностей. Это нередко применяется, например, при рассмотрении старых религий и реальностей, за ними стоящих.

В сущности, этому новому отношению к вещам посвящена вся книга: подобная проблематика чересчур обширна и сложна, чтобы быть хотя бы бегло очерченной в одной главе. Данная глава «Отношение к культуре», следующая – «Отношение к религиям», но не следует ждать от них развернутого изложения этих тем. Новым осмыслением различных культурных областей, различных исторических явлений, различных религиозных систем, а также различных царств природы насыщены все двенадцать книг этого труда. Первые же главы равноценны лишь некоему введению. Они содержат конспективное изложение некоторых основных принципов, и только.

Ведущей областью культуры в наш век является наука. Научный метод познания претендует на гегемонию; поэтому настоящая глава начинается с характеристики отношения Розы Мира именно к научному методу. Приходится сказать сразу и без обиняков: сколько иллюзий ни создавали бы на этот счет энтузиасты научного метода, но ни единственным методом познания, ни единственным методом овладения материей он никогда не был, не будет и не может быть. Не говоря уже о методе художественном, с которым научный метод высокомерно и неохотно делит теперь свое первенствующее положение, следует напомнить, что давно уже заложены основы такой методики познания и овладения материальностью, усвоение которой неразрывно связано с духовным самосовершенствованием человека, с просветлением его этического облика. Впереди брезжит даже возможность таких исторических стадий, когда эта методика придет к некоторому первенствованию. Я подразумеваю не столько дискредитированные вследствие ряда недоразумений понятия магии или оккультизма, сколько понятие духовного делания. Различные системы и школы этого рода имеются во всех высоко развитых религиях. Разрабатывая веками практические приемы воздействия воли на человеческий организм и на внешнюю материю и подводя человека к этому лишь после длительной нравственной подготовки и многостороннего искусства, они поднимали и поднимают сотни, может быть, даже тысячи людей, до того, что в просторечии именуется чудотворчеством. Эту методику, крайне трудоемкую и вызывающую жгучую ненависть современных филистеров, отличает один принцип, науке чуждый: принцип совершенствования и трансформации собственного существа, вследствие чего физический и эфирный покровы личности становятся более податливыми, эластичными, более послушными орудиями воли, чем у нас. Этот путь приводит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохождение сквозь предметы трехмерного мира, движение по воздуху, хождение по воде, мгновенное преодоление огромных расстояний, излечение неизлечимых и

слепорожденных и, наконец, как наивысшее, чрезвычайно редкое достижение – воскрешение мертвых. Здесь налицо овладение законами нашей материальности и подчинение низших из них высшим, нам еще неизвестным. И если в XX столетии большинство из нас успевает прожить всю жизнь, так и не столкнувшись с бесспорными случаями подобных явлений, то из этого вытекает не то, что подобных явлений не бывает, и не то, что они принципиально невозможны, но лишь то, что условия безрелигиозной эры – культурные, социальные и психологические – до такой степени затрудняют изучение и усвоение этой методики (особенно на Западе и еще больше в странах социалистического лагеря), что сводят количество подобных случаев к немногим единицам. Некоторые воистину роковые для человечества события, имевшие место около двух тысяч лет назад – о них речь будет впоследствии, – повинны в том, что вовлечение не единиц, а множеств человеческих на этот путь познания и овладение материей оказалось невозможным. В дальнейшем, психологический климат безрелигиозной эры все более и более тормозил движение по этому пути. Ныне освоение этой методики затруднено до предела, а в некоторых странах практически невозможно совсем. Но нет оснований думать, что таким медленным и трудоемким этот путь останется навсегда: а религиозная эра – не бесконечна, мы живем в ее конце. Трудно представить себе что-нибудь столь же тяжеловесное, несовершенное, грубое и жалкое, чем достижения современной техники в сравнении с достижениями той методики, о которой я говорю. Если бы на ее развитие и усвоение были бы брошены такие средства и такие неисчислимы людские резервы, какие ныне поглощены развитием методики научной, – панорама человеческой жизни, нашего творчества, знаний, общественного устройства и нравственного облика изменилась бы в самых основах. Психологический климат эпохи Розы Мира создаст для развития именно этой методики такие благоприятные условия, как никогда. Но это – дело будущего, и притом не слишком близкого. А пока это не стояло настоящим, нам предстоит пользоваться в основном иной методикой, гораздо менее совершенной, не ведущей далеко, но повсеместно господствующей теперь.

Отсюда и общее отношение Розы Мира к науке и технике на текущем историческом этапе. Кропотливо накапливая факты, выводя из них кое-какие закономерности, не понимая ни природы их, ни направленности, но овладевая ими механически и при этом будучи не в силах предугадать, к каким изобретениям и социальным потрясениям приведут ее открытия, – наука давно доступна всем, независимо от морального облика каждого. Результаты – у нас перед глазами и у нас над головой. Главный из них тот, что ни один человек на земле не гарантирован, что в любую минуту на него и на его сограждан не будет сброшена высокоинтеллектуальными умами водородная бомба или другое, еще более ошеломляющее достижение науки. Естественно поэтому, что одним из первых мероприятий Розы Мира после ее прихода к контролю над деятельностью государств будет создание Верховного ученого совета – то есть такой коллегии, которая выделится внутренними кругами самой Розы Мира. Состоящий из лиц, сочетающих высокую научную авторитетность с высоким нравственным обликом, Совет возьмет под свой контроль всю научную и техническую деятельность, направив свою работу по двум путям: планирующему и оберегающему.

Все, что относится к обереганию жизненных интересов человечества, представляется в общем достаточно ясным, во всяком случае в своих принципах, и вряд ли на этом нужно останавливаться здесь. Что же касается проблем, связанных с обереганием интересов животного и растительного царств, то они будут освещены в соответствующих разделах книги, посвященных животному миру и мирам стихий. Потому что это – едва ли не единственная область, в которой воззрения Розы Мира и взгляды большинства современных ученых не могут быть примирены. Впрочем, это противоречие затрагивает не какие-либо выводы науки, а лишь некоторые из ее частных практических методов, которые не только в глазах Розы Мира, но и в

глазах почти любого религиозно-нравственного учения и даже почти любого гуманного человека несовместимы с элементарными требованиями добра.

Кроме этих чисто методологических противоречий, между Розой Мира и наукой никаких точек столкновения нет и не может быть. Им негде сталкиваться. Они о разном. Не случайно, вероятно, то обстоятельство, что большинству крупных ученых XX века их научная эрудированность не мешала обладать личной религиозностью, не мешала им разделять и даже создавать яркие спиритуалистические системы философии. Эйнштейн и Планк, Павлов и Лемэтр, Эддингтон и Милн, каковы бы ни были области их научных изысканий, оставались каждый по-своему глубоко верующими людьми. Разумеется, я не принимаю при этом во внимание русских ученых советского периода, некоторые из коих вынуждены были заявлять о своем материализме не из философских соображений, а в силу совершенно иных причин, для всякого понятных. Оставим же в покое философию и политику: в чисто научных областях Роза Мира не утверждает ничего из того, в чем наука имеет право на отрицание. Налицо другое: о тех реальностях, которые утверждает Роза Мира, наука пока молчит. Но и это – явление недолговременное. Что же касается социальных, культурных, этических задач, стремиться решить которые будет Роза Мира, то невозможно представить, чтобы они встретили со стороны научных авторитетов какие-либо возражения по существу.

Думается, что уже и не самая идея планирования науки будет тогда предметом дискуссии, а границы того, что охватывается планированием, и его практика. Не будет лишено, вероятно, некоторого интереса специальное изучение практики планирования и координации научных работ в некоторых государствах середины XX столетия. Но воспользоваться можно будет лишь отдельными их деталями, хотя бы уже потому, что Федерация будет состоять из многих государств, больших и малых, только что объединившихся, стоящих на разных ступенях экономического развития, формировавшихся в лоне различных культур и обладающих различными социально-политическими укладами. Некоторые из этих укладов, отличающиеся большей социализацией экономических отношений, будут легче вовлекаемы в общий неизбежный процесс всемирной социализации; другие, привычные к анархии производства, втянутся в него постепенно. Все это, равно как и многообразие культурных типов, будет создавать в первый период чрезвычайную пестроту мировой экономики и Бездействующих друг на друга культурных укладов. Долго еще будут давать себя знать и застарелые национальные антагонизмы. Не сразу удастся уравновесить и согласовать нужды отдельных стран и отдельных слоев населения, заинтересованных, например, в первоочередном развитии таких-то и таких-то отраслей промышленности там-то и там-то или в сбыте своей продукции куда-нибудь. От тех, кто будет возглавлять Ученый совет и самое Розу Мира, потребуются для справедливого решения этих проблем некое новое психологическое качество: преодоленность в собственном существе господства местных, столь пока еще естественных, культурно-расовых привязанностей, полное национальное беспристрастие. Сколько усилий, какая авторитетность и даже самопожертвование потребуются хотя бы для того, чтобы ослабить застарелые антагонизмы – англо-арабский, например, русско-польский или армяно-турецкий! Каким поведением заслужат немцы, англичане, русские или американцы забвение той вражды, которую они возбудили к себе во стольких нациях? Какие воспитательные средства потребуются для того, чтобы разрушить комплекс ущемленного самолюбия, мешающий многим малым и средним нациям дружественно относиться к своим соседям и перерастающий в агрессивные мечты о достижении собственного величия за счет величия других? Но это – только одна сторона задачи. Многим западным нациям придется вытравить в себе малейшие следы старинного чувства превосходства своего перед другими. Русскому придется понять, что его страна – не венец создания и уж во всяком случае не лучше многих других. Англичанин вынужден будет совершить титаническую внутреннюю

работу, чтобы отрешиться от невольного предпочтения интересов жителей Британских островов интересам жителей Индонезии или Танганьики. От француза потребуется умение принимать к сердцу интересы Парагвая или Таиланда так же горячо, как и свои собственные. Китаец или араб освободят свое сердце и ум от вскормленного столкими веками когда-то справедливого, а теперь устаревшего недоверия к европейцам и научатся уделять потребностям Бельгии или Греции внимания не меньше, чем потребностям Жэхэ или Судана. Жителям латиноамериканских республик придется отучиться от привычки заботиться и плакаться только о себе и принять участие в распределении мировых благ с учетом нужд Афганистана, Камбоджи и даже Якутии. А гражданам Соединенных Штатов надлежит вспомнить, что они почитаются христианами и что христианство несовместимо со звериной ненавистью к какой бы то ни было расе, хотя бы и черной. Трудно, трудно это, – ясно, что ужасно трудно, но избавление от войн и тираний – только через эту психологическую самопеределку. И уж конечно, надеяться на участие в работе всемирных планирующих органов не может ни один человек, не завершивший над собою подобной операции. Придется учиться даже национальному самопожертвованию: о, не своею кровью, разумеется, не жизнью своих сынов, а только долларами. Ибо наиболее богатым странам предстоит в какой-то мере поделиться своими ресурсами с народами Востока и Юга, и поделиться притом бескорыстно, безо всяких надежд сделать из этой помощи удачный бизнес. Короче говоря, каждый, причастный к руководству Розы Мира, должен уметь чувствовать себя прежде всего – членом космического целого, потом – членом человечества, и только уже после всего этого – членом нации. А не наоборот, как учили и учат нас доселе.

Потому что общая цель Розы Мира, точнее – того гигантского духовного процесса, который начался тысячелетия назад и лишь этапом которого является Роза Мира, – так вот, цель этого процесса – просветление Шаданакара, а ближайшая эпохальная задача – чтобы достойный человека материальный достаток, простое житейское благополучие и элементарно нравственные отношения между людьми водворились везде, не оставляя вне своих пределов ни одного человека. Тезис о том, что всякому человеку без исключения должны быть обеспечены занятия, отдых, досуг, спокойная старость, культурное жилище, пользование всеми демократическими свободами, удовлетворение основных материальных и духовных потребностей, начнет стремительно воплощаться в жизнь.

Не скоро, лишь в последних главах смогу я осветить те конкретные мероприятия, ту систему последовательных реформ, благодаря которым, как мне представляется, эти принципы могут облечься плотью и кровью. Пока – речь только о принципах. Чтобы тот, в ком эти принципы не возбуждают сочувствия, не тратил времени и сил на дальнейшее чтение, а сочувствующий понял внутренний дух Розы Мира прежде, чем перейти к размышлению о путях претворения этих идеалов в жизнь.

Таков принцип отношения Розы Мира к науке и технике, насколько можно дать понять этот принцип, не забираясь пока в метаисторическую и трансфизическую глубину. И такова должна быть роль научного метода в ряду ближайших эпох.

Пройдет несколько десятилетий. Прогрессирующий рост производительных сил достигнет того уровня, который мы будем вправе назвать всеобщим достатком. Условия жизни, какими пользуются теперь граждане передовых стран, водворятся в самых диких уголках земного шара. Обращение на мирные цели тех невероятных сумм, которые сейчас тратятся на вооружение, сообщит экономическому прогрессу почти непредставимые темпы. Период всеобщего начального обучения будет во всех странах преодолен, вероятно, еще раньше; в дальнейшем и среднее всеобщее образование начнет представляться уже недостаточным. Очертания интеллигенции совпадут с очертаниями человечества. Развитие новых и новых средств связи, их общедоступность, их комфорт фактически уничтожат проблему международного и

межкультурного пространства. Рабочий день, сокращаясь все более, высвободит новые резервы времени. Физиология разработает аппаратуру, помогающую человеческому мозгу быстро и прочно запоминать воспринимаемые им сведения. Досуг станет возрастать. И те вопросы, которые волнуют сейчас большинство, – интересы хозяйства, организации производства, улучшения продукции, промышленной техники, дальнейшего совершенствования жизненных удобств, – потеряют свою остроту. Весьма правдоподобно даже, что тем поколениям будет непонятно и странно, как могли их предшественники увлекаться и кипятились при решении столь скучных и плоских проблем. Запасы сил обратятся на создание ценностей высшего порядка, ибо материальная основа жизни не будет подвержена никаким колебаниям, всеобъемлюща и совершенно прочна.

Проблемы техники и экономики перестанут привлекать к себе преимущественное внимание. Они будут решаться в соответствующих коллективах, а широкой гласности их будут предавать не больше, чем теперь предают вопросы общественной кухни или водопровода. И человеческая одаренность обратится на другое: на то, что будет диктоваться жаждою знания, любовью ко всему живущему, потребностью в высших формах творчества и влюбленностью в красоту.

Жажда знания, когда-то толкавшая исследователей в плавание по неведомым морям, в блуждания по нехоженным материкам, бросит их сперва – возможно, еще до прихода Розы Мира – в космонавтику. Но чужие планеты негостеприимны; после нескольких разведывательных экспедиций эти полеты прекратятся. И сама жажда знания начнет менять свою направленность. Будут разработаны системы воспитания и раскрытия в человеческом существе потенциально заложенных в нем органов духовного зрения, духовного слуха, глубинной памяти, способности к произвольному отделению внутренних, нематериальных структур человека от его физического тела. Начнутся странствия по нематериальным мирам, по открывающимся слоям Шаданакара. То будет век Магелланов планетарного космоса, Колумбов духа.

Какая же система взглядов на личность, на ее ценность, на ее права и долженствование, на пути ее совершенствования будет способствовать водворению нового психологического климата, ускорит наступление этого золотого века?

Именно в том факте, что личность содержит единоприродные с Божеством способности творчества и любви, заключена ее абсолютная ценность. Относительная же ее ценность зависит от стадии ее восходящего пути, от суммы усилий – ее собственных и Провиденциальных, – затраченных на достижение ею этой стадии, и от того, в какой степени она эти способности богосотворчества и любви выявляет в жизни.

Земной отрезок космического пути восходящей монады являет собой такой этап, на котором ее способности к творчеству и любви уже могут и должны распространяться на окружающую ее природную и искусственную среду, ее совершенствуя, – то есть преодолевая в этой среде тенденцию к изолированному самоутверждению частей и частиц за счет других. Зло заключается именно в такой тенденции, как бы она ни выражалась. Формами и масштабами оно разнообразно почти до бесконечности, но основа всегда одна и та же: стремление к утверждению себя за счет остальных и всего остального.

Старинные религии усматривали мерило относительной ценности личности в степени выполнения ею предписаний данного религиозно-нравственного кодекса. Религии аскетической окраски наивысшей ступенью полагали святость, понимая под нею чистейший образец иноческого служения либо мученичество за веру. При этом любовь отступала на второй план. Иноческий или мученический подвиг совершался не в силу любви к людям и ко всему живому, но в силу жажды воссоединения с Богом и избавления от посмертных мук. Конечно, я имею здесь в виду доминирующее направление, преобладающее настроение, а не образы таких

изумительных отдельных деятелей, апостолов любви, как св. Франциск, Рамаджуна или Миларайба. Как это ни чудовищно для нас, но даже вечные мучения грешников в аду не вызывали в большинстве адептов этих религий стремления к тому, чтобы просветить мировые законы, в том числе и закон возмездия или кармы. Вечное возмездие за временное нарушение их казалось справедливым актом Божества или во всяком случае (как в брахманизме) непререкаемым и абсолютно непреодолимым законом. Будда как свеча горел огнем сострадания, но и он учил только тому, как вырваться из круга железных законов мира, а не тому, как просветить и преобразить их. Что касается творчества, то его врожденность монаде не сознавалась совсем, даже понятия такого не было, а конкретным видам творчества, доступным человеку, не придавалось значения, исключая религиозное творчество в узком смысле: духовное делание, богословие, проповедничество, храмовое строительство, культ.

Другие религии, не склонные к аскетизму, как ислам и протестантизм, видоизменили этот идеал, расширили его и, вместе с тем, снизили, сделав его более доступным, более народным, вплоть до исполнения нескольких заповедей по отношению к Богу, к государству, к ближайшему окружению, к семье и, наконец, к самому себе. Приходится повторить, что ни та, ни другая группа религий задач преобразования общества, и тем более природы, ни перед кем не ставила. Сообразно этому представление и о долженствовании личности оставалось ущербным и узким. Естественно, что подобные задачи, но в крайне упрощенном виде, были поставлены наконец учениями безрелигиозными. Провозглашался сниженный и противоречивый этический идеал, механически сочетавший некоторые прогрессивные черты с такими, которые шли вразрез с этическим минимумом, давно, казалось бы, бесспорным. Вспомнили старую формулу «цель оправдывает средства» и, опасаясь провозгласить ее с честной откровенностью, стали пользоваться ею практически. При характеристиках и оценках исторических явлений их моральное качество игнорировалось полностью; вердикты выносились лишь исходя из учета общей прогрессивной или реакционной направленности данного явления. Никого не смущало, что это приводит к оправданию кровавой деятельности многих деспотов прошлого и даже таких вопиющих массовых побоищ, как якобинский террор или деятельность опричнины. Многие старые достижения социального прогресса, как свобода слова, печати или религиозной пропаганды, были отброшены. Поколения, воспитанные в подобной атмосфере, постепенно теряли самую потребность в этих свободах – симптом, говорящий выразительнее любых тирад о потрясющем духовном регрессе общества. Таким образом, при приближении к идеалу в том виде, в каком он представал в реальности, обесценивалось и то положительное, что он заключал. Ибо впереди рисовалось лишь царство материальной сытости, купленной ценой отказа от духовной свободы, многомиллионными гекатомбами человеческих жизней и сбрасыванием в низшие слои Шаданакара миллиардов душ, отдавших за чечевичную похлебку свое божественное первородство.

Надо надеяться, что страшный урок не пройдет даром.

Учение Розы Мира указывает на абсолютную ценность личнос–ти, на ее божественное первородство: право на освобождение от гнета бедности, от гнета агрессивных обществ, на благополучие, на все виды свободного творчества и на обнародование этого творчества, на религиозные искания, на красоту. Право человека на обеспеченное существование и пользование благами цивилизации есть такое врожденное ему право, которое само по себе не требует отказа ни от свободы, ни от духовности. Уверять, будто бы здесь заключена какая-то роковая дилемма, что ради достижения всего только естественных, само собой разумеющихся благ надо жертвовать личной духовной и социальной свободой, – это значит вводить людей в обман.

Учение укажет и на долженствование личности: на последовательное расширение сферы

того, что охватывается ее любовью; на возрастание, умножение и просветление того, что создается ее творчеством. Творчество, таким образом, оказывается и правом, и долженствованием. Я до сих пор не могу понять, каким образом эта воистину божественная способность человека не встретила должного отношения к себе ни в одной из старинных религий, кроме некоторых форм многобожия, в особенности эллинского. Кажется, только в Элладе умели боготворить не только произведения искусства, но самую творческую способность, именно творческую, а не производительную, как в других формах политеизма, и даже венчать апофеозами великих деятелей искусства. Печально и странно, что после угасания Эллады творческий дар перестал привлекать к себе взор религий, не осмыслился больше ни онтологически, ни метафизически, ни мистически. Под влиянием односторонне понятой семитической идеи о том, что после шести дней творения наступило упокоевание Божественного творческого духа, даже вопрос о дальнейшем творчестве Самого Бога богословская мысль предпочитала обходить стороной, и речение Божества, запечатленное в Откровении Иоанна – «Се, творю все новое», – осталось единичным взлетом, единичным прозрением. К человеческому же творчеству установлюсь и вовсе подозрительное отношение, как будто гордыня, в которую может впасть человек-творец, более опасна и губительна, чем творческое бесплодие. К сожалению, не менее прискорбная точка зрения на творчество человека установилась и в религиях индийского корня.

Последние века западных культур, столь богатые проявлениями гениальности во всех областях искусства, в науке и в философии, научили нас многому. Научили они нас и благоговейному отношению к человеческому творчеству, и уважению к человеческому труду. Но безрелигиозный дух этих веков способствовал в этом вопросе как раз тому, чего боялись старинные религии: человеку-творцу сделалась свойственной гордыня своим творческим даром, как если бы самый этот дар он создал в себе сам. Впрочем, эта самостность свивала себе гнездо не столько в душах подлинных гениев, и тем более духовных вестников, сколько в ряду второстепенных деятелей наук и искусств. Более подробному рассмотрению этих проблем под углом учения Розы Мира будет в настоящей книге посвящен ряд специальных глав.

Во всяком случае, творчество, как и любовь, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранныкам. Избранныкам ведомы праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и талант. Но это – лишь раскрытие потенций, заложенных в каждой душе. Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас. Религия итога будет стремиться разрушить эту преграду, дать пробиться живым водам сюда, в жизнь. В поколениях, ею воспитанных, раскроется творческое отношение ко всему, и самый труд станет не обузой, но проявлением неутолимой жажды создавать новое, создавать лучшее, творить свое. Все последователи Розы Мира будут наслаждаться творческим трудом, обучая этой радости детей и юношество. Творить во всем: в слове и в градостроительстве, в точных науках и в садоводстве, в украшении жизни и в ее умягчении, в богослужении и в искусстве мистерии, в любви мужчины и женщины, в пестовании детей, в развитии человеческого тела и в танце, в просветлении природы и в игре.

Потому что всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть богосотворчество: им человек поднимает себя над собой, обоживая и собственное сердце, и сердца других.

В смысле личного духовного совершенствования большинство людей движется по медленному и широкому пути. Этот путь проходит через браки и деторождения, сквозь причастность различным формам деятельности, сквозь полноту и пестроту впечатлений жизни, сквозь ее радости и наслаждения. Но есть и Узкий Путь: он надлежит тем, кто носит в своей душе особый дар, требующий жесткого самоограничения: дар святости. Несправедливы

религиозные учения, утверждающие Узкий Путь как единственно правильный или наивысший. И столь же неправы общественные или религиозные системы, отрицающие его вовсе и воздвигающие препятствия перед теми, кто чувствует себя призванным именно к такому пути. Вряд ли в эру Розы Мира монастыри будут многочисленными; но они – будут, чтобы всякий, кого духовная жажда гонит на Узкий Путь, мог бы работать над раскрытием в себе таких способностей души, которые нуждаются в многолетнем труде среди тишины и уединения. Если на Узкий Путь человек встает из страха перед возмездием или из-за мечты о личном, себялюбивом, замкнутом общении с Божеством, его победы не имеют цены. Никакого Божества, дарующего в награду своим верным рабам блаженное созерцание его величия, – нет. Созерцание высших сфер есть выход личности из себя и приобщение Единому, объемлющему все монады и зиждущему весь мир. Поэтому последователя Розы Мира может принудить стать на Узкий Путь не духовный эгоизм, не жажда личного спасения при холодном безразличии к другим, но понимание, что на Узком Пути раскрываются такие дары, которыми праведник будет помогать миру из уединения более действенно, чем сотни живущих в миру, и которые в посмертии становятся такою силой, что перед ней преклоняются даже могучие демонические иерархии.

Нет никакой надобности в страшных клятвах, сопровождающих постриг. Нет основания для осуждения и поношения того, кто по истечении ряда лет ушел с пути. Вступающий будет давать сперва только временный обет: на три года, на пять, на семь. Лишь после успешного завершения таких этапов он, если хочет, получит право принесения обета на более длительный срок; и все же сознание безвозвратности, подозрение непоправимой ошибки не будет томить и давить его, порождая отчаяние и бурные вспышки неизжитого: он будет знать, что по истечении срока волен вернуться в мир, волен избрать любой образ жизни, любой труд, волен иметь семью, детей, не заслужив этим ни от кого ни порицания, ни пренебрежения.

Я постарался предвосхитить отношение Розы Мира к научному и к вненаучным методам познания, к личности, к ее правам и долженствованию, к человеческому творчеству и труду, теперь – к двум основным видам духовного пути: Широкому и Узкому. Чтобы восполнить представление об ее отношении к культуре, следовало бы остановиться на ее воззрениях на искусство – в широком смысле слова. Но этот вопрос столь многозначен и важен, а лично мне столь близок, что я решится посвятить ему серию глав в одной из дальнейших частей книги. Поэтому, прежде чем перейти к вопросу об отношении Розы Мира к другим религиям, скажу об искусствах приближающейся эры лишь несколько беглых слов.

Какими же чертами может отличаться искусство, которое создадут люди, причастные духу Розы Мира, в ближайшие эпохи, когда солнце золотого века только начнет еще озарять облака над горизонтом?

Было бы наивно пытаться предугадать или очертить многообразие художественных направлений, жанров, школ, стилистических приемов, которыми засверкает эта сфера культуры к концу текущего столетия. Но будет, мне кажется, определяться некий преобладающий стиль, не исчерпывающий, конечно, всех течений искусства (в условиях максимальной свободы это невозможно, да и не нужно по той же причине), но призванный стать в искусстве и литературе последней трети века некоторой, как теперь говорят, магистралью. В этом стиле найдет свое выражение присущее Розе Мира восприятие вещей: восприятие сквозящее, различающее через слой физической действительности другие, нематериальные или духовные слои. Такое мировосприятие будет далеко от нарочитого оптимизма, боящегося нарушить собственную безмятежность вниманием к темным и трагическим сторонам бытия. Творцы этого искусства не станут избегать созерцания горестной и страшной изнанки мира. Они сочли бы за малодушие жажду забыть о кровавом пути истории, о реальности грозных, инфразифических слоев Шаданакара, об их беспощадных законах, удерживающих в узах нечеловеческих мук

неисчислимы сонмища несчастных, и о тех наипоказнейших срывах общечеловеческого духа, которые подготавливаются силами Противобога и осуществляются в истории почти неизбежно, когда исчерпает свое поступательное движение золотой век. Но высокая степень осознания не воспрепятствует их любви к миру, к земле, не уменьшит их радостей, порождаемых природой, культурой, творчеством, общественным служением, любовью, дружбой, – напротив! Разве сознание скрытых опасностей, грозящих тому, кого любишь, ослабляет жар любви? – Будут чудесные создания еще небывалой полноты жизнеутверждения, чистоты и веселия. В руслах всех искусств – тех, которые уже есть, и тех, которые возникнут, – появятся искрящиеся, как водяные брызги в солнечных лучах, произведения творцов будущего о любви, более многосторонней, чем наша, о молодости, о радостях домашнего очага и общественной деятельности, о расширении человеческого сознания, о раздвигании границ восприятия, о стихиях, подружившихся с людьми, о вседневной близости невидимых еще теперь друзей нашего сердца, да и мало ли о чем, что будет волновать людей тех эпох и чего мы не в состоянии себе представить.

Мне кажется, такое искусство, мужественное своим бесстрашием и женственное своим любвеобилием, мудрое сочетание радости и нежности к людям и к миру с зорким познанием его темных глубин, можно было бы назвать сквозящим реализмом или метареализмом. И следует ли говорить, что не непременно нужно произведению искусства быть образцом сквозящего реализма, чтобы люди, причастные духу Розы Мира, сумели ему радоваться и восхищаться? Они будут радоваться всему, что отмечено талантом и хотя бы одной из этих особенностей: чувством прекрасного, широтой охвата, глубиной замысла, зоркостью глаза, чистотой сердца, веселием души.

Наступит время, когда этический и эстетический уровень общества и самих деятелей искусств станет таков, что отпадет всякая надобность в каких-либо ограничениях, и свобода искусств, литературы, философии и науки станет полной. Но между тем моментом, когда Роза Мира примет контроль над государствами, и эпохой этого идеального уровня пройдет несколько десятилетий. Не из мудрости, а из юношеской незрелости могла бы возникнуть мысль, будто общество уже достигло тех высот развития, когда абсолютная свобода не может породить роковых, непоправимых злоупотреблений. Вначале придется вручить местным филиалам Всемирного художественного совета, кроме других, более отрадных функций, также и этот единственный контроль, через который будет проходить художественное произведение перед его обнародованием. Это будет – если не обидится читатель на шутку – лебединой песней цензуры. Сначала, когда национальные антагонизмы и расовые предрассудки еще не будут изжиты, а агрессивные организации будут еще играть на этих предрассудках, придется налагать запрет на любую пропаганду вражды между теми или иными группами населения. Позднее контроль еще будет сохраняться над книгами и учебными пособиями, популяризирующими научные и философские идеи, в том единственном, однако, направлении, чтобы они не оказались неполноценными, легковесными или искажающими объективные факты, – не вводили бы неквалифицированного читателя в заблуждение. Над художественными произведениями еще удержится, мне кажется, контроль, требующий от них некоторой минимальной суммы художественных достоинств, оберегающий книжный рынок от наводнения безвкусицей, эстетически безграмотной макулатурой. И, наконец, дольше всего удержится, вероятно, безусловный запрет, наложенный на порнографию. С отменой же каждого из этих ограничений его будет заменять другое мероприятие: после выхода в свет недоброкачественного произведения Всемирный художественный совет или Всемирный ученый совет опубликует свое авторитетное о нем суждение. Этого будет достаточно. Разумеется, не так-то легко будет выработать такую систему заполнения кресел в этих советах, которая гарантировала бы все области культуры от вмешательства в руководящую ими деятельность людей с узкопартийными

или узкошкольными взглядами, нетерпимых сторонников какого-либо одного художественного течения или философской концепции, либо наконец защитников творческих интересов какой-нибудь ограниченной группы, нации или поколения. Мне не думается, однако, что в психологической атмосфере Розы Мира подобная система не могла бы быть выработана.

Если не вдаваться сейчас в разграничение понятий культуры и цивилизации, то можно сказать, что культура есть не что иное, как общий объем творчества человечества. Если же творчество – высшая, драгоценнейшая и священнейшая способность человека, проявление им божественной прерогативы его духа, то нет на земле и не может быть ничего драгоценнее и священнее культуры, и тем драгоценнее, чем духовнее данный культурный слой, данная культурная область, данное творение. Культура общечеловеческая еще только возникает; до сих пор мы видели в качестве совершенно оформившихся феноменов лишь культуры отдельных сверхнародов – то есть таких групп наций, которые объединены между собой именно совместно создаваемой, своеобразною культурой. Но каждая из таких культур отнюдь не исчерпывается тою своей сферой, которая пребывает, развиваясь, в нашем трехмерном пространстве. Те, кто эту культуру создали здесь, продолжают свое творчество и в посмертии – творчество, измененное, конечно, сообразно иным условиям того мира или тех миров, через которые проходит теперь душа человека-творца. Возникает представление о миллионных содружествах подобных душ, о небесных странах и градах над каждым из сверхнародов мира и об Аримойе – ныне возникающей небесной стране культуры общечеловеческой.

Подобный принцип отношения к культуре нов и необычен. Мы вправе были бы даже заметить, что при дальнейшем углублении и детализации он перерастет в обширную мифологию, если бы только под словом «миф» мы не привыкли понимать нечто, не имеющее под собой никакой реальности. Здесь же как раз напротив: речь идет о реальности колоссальных масштабов, которая отражается снижением и замутненно, но все же отражается, в подобной мифологии.

Атмосфера Розы Мира и ее учения создадут предпосылки к тому, чтобы эта мифология о культуре стала достоянием каждого ума. И пусть во всей ее эзотерической сложности ее сможет охватить лишь ограниченное число сознаний; дух этой концепции, а не буква ее постепенно сделается доступен почти для всех. И если вдуматься в те психологические перспективы, которые сулит овладение подобной концепцией со стороны масс, то перестанет казаться несбыточной и надежда на создание системы мероприятий, гарантирующей все области культуры от вмешательства людей, не имеющих на руководство этими областями никаких внутренних прав.

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИЯМ

Как часто употребляем мы слово «истина» и как редко пытаемся определить это понятие.

Не смутимся же, однако, тем, что повторяем, в сущности, вопрос Пилата, и попытаемся в меру наших сил разобраться в этом понятии.

Истинными называем мы ту теорию или то учение, которые, на наш взгляд, выражают неискаженную предстaвление о каком-либо объекте познания. В точном смысле слова истина есть неискаженное отражение какого-либо объекта познания в нашем уме. И сколько существует на свете объектов познания, столько же может существовать истин.

Но объекты познания познаваемы от нас, а не из себя. Следовательно, истина о любом объекте познания, познанном от нас, должна быть признана истиной относительной. Истина же абсолютная есть отражение такого объекта познания, который каким-либо субъектом познан «в себе». Такое познание принципиально возможно лишь тогда, когда противостояние объекта и субъекта снято; когда субъект познания отождествляется с объектом.

Абсолютная истина универсальная есть неискаженное отражение в чем-то сознании Большой Вселенной, познанной «в себе». Абсолютные истины частные суть неискаженные отражения какой-либо части Вселенной – части, познанной «в себе».

Естественно, что Абсолютная истина Большой Вселенной может возникнуть лишь в сознании соизмеримого ей субъекта познания, субъекта всеведущего, способного отождествиться с объектом, способного познавать вещи не только «от себя», но и «в себе». Такого субъекта познания именуют Абсолютом, Богом, Солнцем Мира.

Бог «в Себе», как Объект познания, познаваем только Собою. Его Абсолютная истина, как и Абсолютная истина Вселенной, доступна только Ему.

Ясно, что любая частная истина, сколь бы мал ни был объект познания, для нас доступна только в ее относительном варианте. Такой агностицизм, однако, не должен быть понят как безусловный: при конечном совпадении любого частного субъекта познания, любой монады с Субъектом Абсолютным, для нее становится возможно познание не только «от себя», но и «в себе». Таким образом, правомерен не безусловный, а только стадийный агностицизм.

У частных истин быть может несколько или много вариантов – личных, индивидуальных разновидностей одной частной относительной истины. При этом объекты познания малых (сравнительно с субъектом) масштабов отразятся в сознании ряда родственных субъектов почти или полностью идентично: именно родственность многих субъектов между собой обуславливает то, что родственны и их личные варианты той или иной истины. Если бы это было не так, люди были бы лишены возможности понять друг друга в чем бы то ни было. Но чем больше объект познания сравнительно с субъектом, тем больше вызываемых им вариантов. Относительная истина Вселенной и относительна, истина Божества порождают столько же личных вариантов, сколько имеется воспринимающих субъектов.

Ясно, стало быть, что все наши «истины» суть, строго говоря, лишь приближения к истинам. И чем мельче объект познания, тем лучше он может быть охвачен нашим познанием, тем уже разрыв между его абсолютной истиной и нашей относительной истиной о нем. Впрочем, в соотношении масштабов субъекта и объекта имеется граница, ниже которой разрыв между абсолютной и относительной истиной вновь начинает возрастать: например, разрыв между абсолютной истиной какой-нибудь элементарной частицы и нашей относительной истиной о ней чрезвычайно велик. Между же Абсолютной истиной Вселенной, Абсолютной истиной Божества – и нашими относительными истинами о них разрыв велик необъятно.

Я высказываю мысли, которые после Канта должны, казалось бы, быть общеизвестными и

общепринятыми. Однако, если бы они были усвоены каждым религиозно чувствующим и религиозно мыслящим человеком, ничьи претензии на личное или коллективное познание Абсолютной истины, ничьи претензии на абсолютную истинность какой-либо теории или учения не могли бы иметь места.

Как показано выше, Абсолютная истина есть достояние только Всеведущего Субъекта. Если бы такой истиной обладал какой-нибудь человеческий субъект, например коллективное сознание конкретно-исторической церкви, это обнаруживалось бы объективно в безусловном всеведении этого коллективного сознания. И тот факт, что таким всеведением не обладают ни один человеческий коллектив и ни одна личность, лишней раз показывает беспочвенность претензий какого бы то ни было учения на абсолютную истинность. Если бы представители Розы Мира вздумали когда-нибудь претендовать на абсолютную истинность ее учения, это было бы так же беспочвенно и нелепо.

Но столь же беспочвенно и нелепо утверждение, будто бы все учения или какое-либо одно учение ложно. Совершенно ложных учений нет и не может быть. Если бы появилось мнение, лишенное даже крупинки истинности, оно не могло бы стать учением, то есть переданной кому-то суммой представлений. Оно осталось бы собственностью того, кто произвел его на свет, что и случается, например, с философическими или псевдонаучными построениями некоторых душевнобольных. Ложными, в строгом смысле слова, могут быть только отдельные частные утверждения, которым способен придавать иллюзию истинности заемный свет от частноистинных тезисов, соседствующих с ним в общей системе. Однако имеется известное соотношение количества и весомости частноистинных и ложных тезисов, при котором сумма ложных начинает обесценивать крупинки истины, в данном учении заключенные. Далее следуют учения, в которых ложные утверждения не только обесценивают элемент истинного, но переводят всю систему в категорию отрицательных духовных величин. Подобные учения принято именовать учениями «левой руки». Будущее учение Противобога которым, по-видимому, ознаменуется предпоследний этап всемирной истории, построится таким образом, что при минимальном весе частноистинного элемента свет от него будет придавать вид истинности максимуму ЛОЖНЫХ утверждений. Этим и обусловится то обстоятельство, что это учение будет запутывать человеческое сознание в тенетах лжи прочнее и безвыходнее, чем какое бы то ни было другое.

Религии, к разряду учений «левой руки» не относящиеся, разнствуют между собой не в силу истинности одной из них и ложности остальных, а по двум совершенно другим координатам. А именно: во-первых – в силу различных ступеней своего восхождения к абсолютной истине, то есть сообразно убыванию в них субъективного, эпохального элемента. Это стадияльное различие можно условно назвать различием по вертикали, во-вторых – они разнствуют между собой в силу того, что они говорят о разном, отражают различные ряды объектов познания. Этот род различий – различий сегментарных – можно условно назвать различиями по горизонтали.

Оба вида различий не следует ни на минуту упускать из виду при рассмотрении вопроса об отношении Розы Мира к другим религиям.

В развитии науки мы наблюдаем непрерывный процесс накопления относительных частных истин и их совершенствование, уточнение. На очередной стадии отвергаются обычно не ряды накопленных ранее фактов, а лишь их устаревшее толкование. Случаи, когда старый ряд фактов ставился под сомнение и отвергался, как это произошло, например, с алхимией, – сравнительно редки. Но в истории религий господствуют, к сожалению, иные обычаи. Вместо преемственно сменяющих друг друга осмыслений не подвергающихся сомнению духовных фактов, мы видим чаще всего, как на очередной стадии религиозного развития отвергаются значительные ряды ранее постигнутых относительных, частных истин, а свой, новый ряд их, со включением

некоторого числа старых, выдается за абсолютное. Это наблюдение особенно справедливо по отношению к смене так называемых языческих религий системами монотеизма.

Ясно, что сохранение нами подобных обычаев в условиях расширяющегося кругозора XX столетия привело бы нас, самое большее, к созданию еще одной секты. Привнесение в религию научной методики было бы, конечно, грубой ошибкой, столь же незаконной, как перенесение методов искусства на область науки. Но перенять доброе обыкновение ученых – не отвергать, а переосмысливать ряды накопленных ранее относительных истин – давно пора.

Из сказанного вытекает, что никакие учения, кроме учений «левой руки», распознаваемых, прежде всего, по их душевно растлевающему воздействию, не могут быть отвергнуты полностью. Они должны быть признаны недостаточными, обремененными субъективно-человеческими привнесениями: эпохальными, классовыми, расовыми, индивидуальными. Однако зерно относительной истинности, зерно познания «от нас» той или другой области трансфизического мира имеется в каждой из религий, и каждая такая истина драгоценна для всего человечества. Естественно при этом, что объем истинности систем, сложившихся в итоге опыта множества индивидуумов, как правило, больше объема истинности систем, распространенных только у небольших групп. Исключение могут составлять молодые системы, восходящие быть может, к широкому распространению, но, в силу естественного хода вещей, сперва минующие стадию келейного или ограниченно группового существования.

Подобные широко распространенные системы называются в данной концепции – как это будет подробно разъяснено несколько ниже – мифами. За мифами всегда стоит та или иная трансфизическая реальность, но она не может быть не искаженной и не запутанной привнесением в миф множества «человеческого, слишком человеческого». Методика высвобождения трансфизического зерна мифов из их человеческой шелухи вряд ли может быть, во всяком случае теперь, строго и точно сформулирована. Пока не удалось еще выработать необходимый для этого механизм критериев, которого в любом случае было бы достаточно. Да и сомнительно, разрешима ли подобная сложнейшая мистическая задача при помощи одного рации. Можно, правда, построить исходя из телеологии истории определенную классификацию религий, которая позволила бы выделить религии высокоразвитые в особую группу, и убедиться, что есть тезисы, утверждаемые всей этой группой религий, хотя и с различной степенью чистоты и силы. К их числу принадлежат: тезис о единстве Бога, о множественности различных духовных иерархий, о множественности разнозначных миров, о бесконечной множественности становящихся монад, а также о существовании некоего общего нравственного закона, который характеризуется посю– или потусторонними воздаяниями за совершенное человеком в жизни. Во всем же остальном, и даже в истолковании только что перечисленных общих тезисов, мифы либо противоречат один другому, либо говорят о разном.

Однако, если во многих случаях индивидуальность субъекта привносит в представления о познаваемом нечто постороннее, сугубо человеческое, то, с другой стороны, столь же многочисленны случаи, когда какая-либо духовная истина может быть воспринята только определенным складом познающего сознания. Индивидуальность оказывается фактором, не замутняющим познание, но, наоборот, делающим его реально возможным. Телеологический процесс в религиозной истории человечества заключался отчасти именно в том, чтобы воздействием исторических и биографических факторов отшлифовать сознание отдельной личности, народа, расы, эпохи таким образом, чтобы сделать его способным к восприятию данных истин, данной трансфизической реальности. Другим же индивидуальностям, народам, расам, эпохам такое, отшлифованное определенным образом сознание и его религиозный опыт могли казаться странными, искаженными либо незрелыми, чреватými всякого рода абберациями.

Из сотен возможных примеров я возьму пока один, но чрезвычайно яркий: идею перевоплощений. Глубоко присущая индуизму и буддизму, имеющаяся в эзотерическом иудаизме (Каббала), идея эта отвергается ортодоксальным христианством и исламом. Следует ли, однако, думать на основании этой «невсеобщности» идеи, что она представляет собою расовую или стадияльно-культурную аберрацию индийского сознания? Дело в том, что при согласовании тезисов различных религий надлежит, прежде всего, научиться отсеивать главное от второстепенного, общее от частного. «Общее», главное любого тезиса заключается в семени идеи, проявляющем чрезвычайную устойчивость в веках: брошенное в почву различных культурных сред, оно дает различные побеги – различные варианты данного тезиса. Если телеологическая направленность вообще имеется в истории, то, конечно, направленность эта должна сказаться прежде всего в бытии именно таких устойчивых духовных семян – в широко распространенных, исповедуемых миллионами сознаний основах идеи.

Семя идеи перевоплощений состоит в учении о некоем Я, совершающем свое космическое становление или известный отрезок его по ступеням последовательных существований в нашем физическом мире. Все остальное, как-то: духовно-материальная природа и структура перевоплощающегося, та или иная зависимость перевоплощений от закона кармы, распространение принципа перевоплощений также на мир животных или отрицание такого распространения – все это лишь варианты, разновидности основной идеи. И понятно, что в этих вариантах и деталях можно больше и чаще столкнуться с подлинными аберрациями, чем в ее семени, для восприятия которого народом индийским телеологические силы работали много веков, затратив неимоверный труд на ослабление у многих его представителей средостения между дневным сознанием и глубинной памятью – хранилищем воспоминаний о путях души до момента ее последнего воплощения. Ошибочность религиозных догматов заключается, по большей части, не в их содержании, а в претензиях на то, что утверждаемый догматом закон имеет всеобщее, универсальное, космическое значение, а утверждаемый догматом факт должен исповедоваться всем человечеством, ибо без этого будто бы нет спасения. Все изложенное приводит нас к признанию подлинности того духовного опыта, который отлился в идею перевоплощений: да, такой путь становления имеет место; ничего принципиально неприемлемого тут я христианства или ислама в существе этой идеи нет, кроме, разве, того, что об идее перевоплощений до нас не дошло никаких высказываний основателей христианства и ислама (что, впрочем, само по себе ничего не доказывает, так как в Евангелие и Коран попало, как известно, далеко не все, что они говорили). Но решительно не из чего не следует, что путь перевоплощений будто бы есть единственно возможный, единственно реальный путь становления индивидуального духа. Отшлифованное в таком направлении, чтобы постигнуть этот тип пути, сознание индийского народа, как часто в подобных случаях бывает, абсолютизировало свое открытие, стало глухо к восприятию других типов пути становления. С еврейским и арабским народами произошло то же самое, но под противоположным знаком: восприняв истину о другом пути становления, при котором воплощение в физическом слое совершается лишь один раз, сознание этих народов столь же неправомерно абсолютизировало этот второй тип пути. Этому способствует и то, что в различных метакультурах человечества может вообще преобладать тот или другой тип. В результате возникло между двумя группами мировых религий разногласие, кажущееся неразрешимым. В действительности же, обе эти антагонистические идеи истинны в своей основе, фиксируя два из возможных типов пути, и для снятия этого «противоречия» не требуется ничего, кроме отказа каждой из сторон от претензий на универсальную исключительность своей идеи.

Итак, одна из исторических причин непримиримых якобы противоречий между религиями заключается в неправомерной абсолютизации какого-либо тезиса.

А вот и другая причина.

Одним из основных догматов христианства является, как известно, учение о Троичности Божества. Основатель ислама отверг этот догмат, заподозрив в нем реминисценцию многобожия, а главное – потому, что его собственный духовный опыт не заключал в себе положительного указания на подобную истину. Но вряд ли стоит в XX веке повторять аргументацию христианских богословов, в свое время доказывавших и объяснявших коренное различие между догматом Троичности и многобожием: это настолько элементарно, что, надо полагать, теперь и среди магометанских мыслителей не найдется таких, которые, разбираясь в вопросах христианского вероучения, стали бы настаивать на этом ошибочном утверждении. Что же касается второго аргумента – того, что духовный опыт Мухаммеда не содержал подтверждения Троичности, – то он несостоятелен логически. Ничей вообще опыт не может содержать подтверждений всех истинных идей, возникших ранее, в ходе коллективного человеческого богопознания и миропознания. Всякий личный опыт ограничено только премудрость Всеведущего охватывает век) сумму истин «в себе». Поэтому то обстоятельство, что Мухаммед не пережил своим духовным опытом ничего, подтверждающего тезис Троичности, само по себе никак не должно служить аргументом для опровержения этой идеи, даже в глазах ортодоксальных мусульман. Вместо формулы «Пророк, познав совершенное единство Божие, убедился в ложности учения о Троице», следует, по справедливости, формулировать так: «Пророк, познав совершенное единство Божие, не получил, однако, указаний на Троичность Единого». Вполне естественно, что христианское вероучение не только не имеет никаких возражений против мусульманского учения о Единстве, но полностью с ним совпадает. Оно лишь дополняет этот тезис той идеей, которая одною своей устойчивостью две тысячи лет и своей распространенностью на миллиарды сознаний указывает на истинность своей основы. К чему же сводится противоречие между этими двумя главными догматами двух религий? Разве не к произвольному и неправомерному отрицанию одною из них того, о чем в ее собственном положительном опыте нет никаких данных?

Теперь мы видим вторую историческую и психологическую причину укоренившихся разногласий между вероучениями: неправомерное отрицание чужого утверждения только на том основании, что мы не располагаем положительными данными по этому вопросу.

К сожалению, разногласиям, основанным исключительно на этой логической и гносеологической несообразности, нет числа. Привлечем к рассмотрению еще один случай, известный каждому: ислам (суннизм) и протестантизм отрицают правомерность культа святых; почти все остальные религии его принимают и, в той или иной форме, осуществляют. Возражения против этого культа сводятся к тому, что человек не нуждается ни в каких посредниках между собой и Божеством и что духовные почести и молитвы, будучи возносимы не к Богу, а к тем, кто были людьми, – греховны, ибо ведут к обожествлению человека. Но что, собственно, значит эта знаменитая формула: «Человек не нуждается в посредниках»? Если в них не нуждается тот, кто эту мысль провозглашает, то откуда у него право говорить за других, даже за все человечество? Кто его уполномочивал? Уж не те ли миллиарды людей, которые во всех почти странах, во всех почти религиях ощущали живую вседневную потребность в таких посредниках, что и сделало существование культа святых психологически возможным? Если мы, не испытывая потребности в чем-либо (есть люди, не испытывающие потребности, например, в музыке), станем негодовать на всех, эту потребность испытывающих, как на глупых выдумщиков, корыстных лжецов или темных невежд, что мы докажем этим, кроме собственного невежества? – Второй довод – неправомерность воздавания божеских почестей и молитв, тем, кто были людьми. Но почестей божеских (в монотеистическом смысле) им и не воздают, никто их не приравнивает к Богу: мысль совершенно абсурдная, а для людей, выросших в христианских

странах, непростительно невежественная. Правда, в индуизме имеется идея аватар – воплощений Вишну в человеческом облике; но то – аватары, а вовсе не святые. Перед святыми преклоняются именно как перед людьми, сумевшими преодолеть свое человеческое, либо как перед осуществителями воли Божией, посланцами мира горнего. Протестантизм отрицает понятие святости вообще. Но здесь обнаруживается скорее спор о частностях, чем о существе дела: ведь, отвергая аскетический монашеский идеал, Лютер и Кальвин не умаляли значения мирской праведности, хотя и понимали ее, с одной стороны, шире, чем католицизм, а с другой – несколько запретил своим последователям обращаться к его духу молитвенно. Это показывает чистоту и искренность его помыслов, но противоречит основам религиозно-нравственного миропредставления вообще. Ведь если праведность, как высшая самоотдача себя человечеству во имя Божие, есть безупречное и бескорыстное Ему служение (а если понимать праведность так, то смешно отрицать, что она существует на свете, встречается, хотя и редко, в жизни), – если так, то нельзя представить себе праведную душу, после кончины успокоившуюся в бездейтельном блаженстве. Всеми силами своей души, в том числе и такими, которые раскрываются только после смерти, праведник будет осуществлять помощь живущим и низестоящим в их восходящем движении. Это также естественно, как помощь взрослого ребенку, и столь же мало, как эта помощь, умаляет или унижает тех, на кого направлена. Вряд ли это могло быть неизвестно пророку Мухаммеду. Надо полагать, что некоторые крайности, излишества в культе святых, которые он наблюдал у христиан, побудили его запретить своим последователям какие бы то ни было установления этого рода. Возможно, он полагал, что этот запрет уравнивается тем обстоятельством, что усопшие праведники не обязательно нуждаются в напоминании со стороны молящихся, чтобы оказывать им невидимую помощь. Так или иначе, решительно всякое учение, утверждающее истину духовного бессмертия и высокий нравственный закон, только вопреки логике и собственным принципам может полагать, будто дух праведника в его посмертии относится к нынеживущим бездейтельно и безучастно. Отрицание культа святых, или лучше сказать, праведных, логично только с одной точки зрения: материалистической. Но, с другой стороны, абсолютизирование культа святых как общеобязательного неправомерно в такой же степени. Бывают длительные этапы в пути души, даже в пути целого народа, когда им действительно не нужны никакие «посредники»; когда душа, сознательно или неосознанно, чувствует, что укрепление ее самостоятельности, силы, свободы, духовной воли исключает возможность обращения за помощью к кому-либо, кроме Самого Бога. На каком же основании и по какому праву будем мы навязывать такой личности участие в культе святых?

Значительно большую сложность являет основное противоречие между христианством и другими религиями: утверждение божественности Иисуса Христа, как догмат, почитание Его за воплощение одной из ипостасей Троицы. Всем известно, что остальные религии либо соглашались на признание Иисуса пророком в ряду других пророков, либо игнорируют Его, иногда даже энергично отрицая Его провиденциальную миссию. Христианство же, со своей стороны, опираясь на слова своего Основателя о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, отрицает возможность спасения для всех не-христиан.

Представляется, однако, что много недоумений и грубых снижений идей мы избежим, если во все речения Христа, до нас дошедшие, будем вникать, задавая себе вопрос: говорил ли в данном случае Иисус как личность, как конкретное историческое лицо, прожившее в такой-то стране от такой-то до такой-то даты, или же Его разумом и устами трансформируется в человеческие слова голос Бога, который Он слышит в себе. Каждое речение Христа требует рассмотрения именно под таким углом: говорит ли Он в данном случае как Вестник истин духовного мира или же как человек. Ибо нельзя представить, чтобы Иисус во все мгновения

своей жизни говорил только как Вестник и никогда – просто как человек. Вряд ли подлежит сомнению, что в Его скорбном восклицании на кресте «Отче, Отче, векую Меня покинул?» запечатлена мука одной из тех минут, когда он, Иисус, человек, переживал трагедию оставленности, трагедию прерыва связи своего человеческого Я с Божественным Духом; а в учении Его, изложенном на Тайной вечере, все время слышится, как за местоимением первого лица предполагается Бог-Сын, Мировой Логос. – Такому разделению речей Христа на две группы следует подвергнуть все слова Его, сохраненные Евангелием. Совершенно очевидно в таком случае, что и слова Его о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, следует понимать не в том сниженном, суженном, оплотненном и безжалостном смысле, что не спасется будто бы ни одна душа человеческая, кроме христиан, а в том величественном, истинно духовном, космическом смысле, что всякая монада, восполнившая себя до конца, погружается в глубины Бога-Сына, Сердца и Демиурга вселенной, и только через этот всезавершающий акт возвращается к своему истоку, к Богу-Отцу, непостижимо отождествляясь Ему и всей Пресвятой Троице.

Один из виднейших деятелей религиозно-философской индийской общины Брахмо Самадж, Кешуб Чандер-Сен, высказал весьма глубокую мысль: он сказал, что мудрость индуистов, кротость буддистов, мужество магометан – все это от Христа. Очевидно, под этим именем он понимал в данном случае, конечно, не историческую личность Иисуса, а Логос, Себя в Иисусе Христе выразивший преимущественно, но не исключительно. В этой идее нащупывается, на мой взгляд, путь к такому углу зрения, на котором могут прийти к взаимопониманию христиане и многие течения восточной религиозности.

Думается также, что некоторые выражения, укоренившиеся в христианском богословии, почти механически повторяемые нами и как раз являющиеся неприемлемыми для других верований, нуждаются в пересмотре и уточнении. Как понимать, например, слово «вочеловечение» в применении к Иисусу Христу? Неужели мы и теперь представляем себе так, что Логос вселенной облекся составом данной человеческой плоти? Можем ли мы сделать допущение, что путем телеологической подготовки из поколения в поколение был создан, так сказать, телесный инструмент, индивидуальный физический организм, человеческий мозг, способный вместить Разум вселенной? Если так, то ведь надо полагать, что Иисус уже при жизни обладал всеведением, что не согласуется даже с фактами евангельской истории и с Его собственными словами. Не нестерпима ли для нас эта диспропорция масштабов: сближение категорий космических в самом предельном смысле с категориями локально-планетарными, узкочеловеческими? И нестерпима не потому, что она превышает границы нашего разума, а, наоборот, потому что в ней слишком очевиден продукт мышления на определенной, давно минованной культурной стадии, когда вселенная представлялась в миллиарды раз миниатюрнее, чем она есть на самом деле, когда казалось реально возможным падение на землю твердого небесного свода и жуткий град из звезд, сорвавшихся с крюков, на которых они подвешены. Не точнее ли было бы поэтому говорить не о вочеловечении Логоса в существе Иисуса Христа, а о Его в Нем выражении при посредстве великой богорожденной монады, ставшей Планетарным Логосом Земли? Мы именуем Христа Словом, Но ведь говорящий не воплощает, а именно выражает себя в слове: Бог не воплощается, а выражает Себя в Христе. Именно в этом смысле Христос есть воистину Слово Божие. А если так, то отпадает еще одно из препятствий к соглашению христианства с некоторыми другими религиозными течениями.

Я коснулся кратко только четырех межрелигиозных разногласий. Исключая одно последнее, проистекающее из спорности и, может быть, недостаточной отчетливости формулировок, недостаточной откristаллизованности идей, остальные основаны на несовпадении духовного опыта великих визионеров, на том, что, при созерцании некоторых

объектов с различных точек Шаданакара, под различным духовным углом созерцатели видят данный объект в различных аспектах. Условно можно назвать такие разногласия противоречиями по горизонтали, понимая под этим правомерность обеих точек зрения и их мнимую, а не истинную противоречивость.

Еще пример. С тех пор, как существуют христианство и ислам, они продолжают бороться с тем, что они называют язычеством. С течением веков человечество прониклось идеей о непримиримости, несовместимости монотеизма с многобожием, как своего рода аксиомой. Исследование того, почему и как это произошло, увело бы нас слишком в сторону. Существенно другое: на каком основании религии семитического корня, утверждающие бытие духовных иерархий и еще в средние века разработавшие до мелочей учение о них – ангелологию и демонологию, – ограничивают многообразие этих иерархий теми немногими, которые были включены в эти средневековые схемы? Имеется ли хоть тень последовательности в их принципиальном отказе всякому опыту о духовных иерархиях – в истинности? Решительно никаких оснований для этого, кроме опять-таки ссылок на молчание об этом Евангелия и Корана. Именно ввиду недостаточности оснований для огульного отрицания церковь в первые века христианства не столько отрицала богов олимпийского пантеона, сколько отождествляла их с демонами и бесами семитических канонизированных текстов. При этом, вопреки очевидности, игнорировался характер этих божеств, какой восприняло политеистическое духовопознание, и им произвольно приписывались снижающие и опорочивающие черты либо же нарочито подчеркивался слишком антропоморфный элемент, привнесенный в эти представления субъектом познания – политеистическим человечеством и к тому времени сохранившийся уже только в их низших, простонародных вариантах. Как будто признание истинности бытия иерархий природы, великих стихий или духов-народоводителей могло поколебать единство Бога – Творца и зиждителя вселенной, истока и устья мирового потока жизни – больше, чем признание других Его прекрасных детей – ангелов и архангелов, а также тех демонов, о которых трактовалось в канонизированных поучениях Библии!

К сожалению, это древнее недоразумение не разъяснено до сих пор: от античного многобожия давно ничего не осталось, но ожесточенная, узкая, лишенная всякой мудрости нетерпимость проявляется всякий раз, когда христианским церквям или по крайней мере тем, кто говорит от их имени, доводится высказывать свое суждение по вопросам индусских, китайских, японских, тибетских систем. Столь же нетерпимы и две другие религии семитического корня. Здесь налицо типичный случай разнствования религий по горизонтали: не противореча друг другу по существу, не сталкиваясь друг с другом в необозримом духовном космосе, христианство и индуизм, буддизм и ислам, иудейство и религия шинто говорят о разном, о разных, так сказать, духовных странах, о разных сегментах Шаданакара; ограниченность же человеческая толкует это как противоречия и объявляет одно из учений истинным, а остальные – ложными. – «Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это – или бесы, или игра человеческого воображения». Какая детская мысль! Господь Бог един, но богов много; начертание этого слова в русском языке то с большой, то с малой буквы достаточно ясно говорит о различиях содержания, вкладываемого в это слово в обоих случаях. Если же повторение этого слова в различных смыслах пугает кого-нибудь, пусть он заменит его, говоря о политеизме, каким-нибудь другим: «великие духи», «великие иерархии», но от этого ничего не изменится, если не считать того, что употребление слова «дух» может в ряде случаев повести к недоразумениям, ибо многие из этих богов суть не духи, а могучие существа, обладающие материальной воплощенностью, хотя и в других, трансфизических слоях бытия.

Все эти основанные на недоразумениях разногласия между религиями приводят на память

одно сравнение, когда-то встреченное мною в религиозной литературе, хотя я и не помню, где именно: как если бы несколько путешественников поднимались с разных сторон на одну и ту же гору, видели и обследовали различные ее склоны, а по возвращении заспорили бы о том, кто из них видел реально существующее, а кто – причуды собственного воображения; причем каждый рассуждают бы, что гора именно такова, каковой она оказалась с его стороны, а свидетельства других путешественников о других ее сторонах – лживы, абсурдны и являют собой западню для душ человеческих. Таким образом, первый вывод, вытекающий из сопоставления междурелигиозных разногласий, заключает в себе путь к устранению тех из них, которые основаны либо просто на недоразумении, либо на несовпадении объектов религиозного познания в различных рядах опыта, то есть противоречия «по горизонтали».

Но не только политеизм, но и анимизм, и праанимизм не исчерпываются мутными, случайными, субъективными образами, возникавшими в сознании первобытного человечества: трансфизическая реальность стоит и за ними. Провидение именно потому и есть Провидение, что оно никогда не оставляло народы и расы быть игрищем фантазмов и иллюзий, без всякой возможности соприкоснуться с высшей реальностью. Не Бога, а темную, злобную силу пришлось бы признать за истинного вожакого человечества, если представить себе, что десятки тысяч лет первобытному человечеству преграждалась всякая возможность пережить что-либо духовное или по крайней мере иноматериальное, соприкоснуться с чем-либо, кроме физического мира да собственных фантазмагорий.

– Пусть так, но чем может духовный опыт «дикаря» обогатить нас – нас, стоящих на столь высокой, сравнительно с ним, ступени духопознания? – А вот именно тем, что было постигнуто тогда, в той обстановке, тою неповторимой психикой, но не передалось, утратимтесь, не было преемственно воспринято последующими формами духопознания в свою сокровищницу. Специальное исследование магических представлений и опыта пралогического мышления под этим углом зрения помогло бы не только «реабилитации» этих древних верований в их существенных чертах, но и нашло бы для них место в начинающем формироваться теперь синтетическом религиозном мировоззрении. Выяснилось бы, например, что представления австралийского племени арунта о единой жизненной субстанции, переливающейся в материи непрерывно и повсеместно, из существа в существо, из предмета в предмет (а в таких представлениях заключается, в сущности, вся религия этого племени), есть древнейшее откровение человечества о трансфизическом космосе: это есть живое, ярчайшее, безусловнейшее, чем когда-либо потом, переживание единой жизненной силы; австралийцы окрестили ее арунгвильтой, высокоразвитый брахманизм называет ее праной, а как назовет ее через двадцать или тридцать лет мировая наука – это мы еще услышим.

Это разногласие – утверждение тезиса об арунгвильте-пране² древнейшими верованиями и отрицание его подавляющим большинством позднейших религиозных учений – можно рассматривать как разногласие стадияльное, разногласие «по вертикали», разногласие между различными ступенями религиозного познания. Но и здесь мы наталкиваемся на ту же ошибку, тот же неправомерный подход к чужому опыту, с которым мы познакомились, разбирая вопрос об отрицании исламом культа святых или идеи Троичности. И здесь, подо всеми доводами, которые приводятся против древнейшего откровения, таится все тот же наивный ход мысли: об арунгвильте-пране ничего не говорят авторитетные для меня канонизированные тексты; следовательно, ее нет. Ход мысли, по меньшей мере, опасный, потому что в таком случае придется отрицать реальность не только арунгвильты-праны, но и радиоволн, и элементарных частиц, и множества химических элементов, и галактик, и даже, например, планеты Уран, ибо обо всем этом канонические тексты хранят абсолютное молчание.

Выясняется, таким образом, еще и следующее: решительная необходимость учесть то, что

не было учтено в эпоху формирования старинных, так сказать, классических конфессий: опыт первобытного духовопознания, а так же то, что не могло быть учтено тогда по самому ходу вещей: опыт многовековой эволюции религий на всех континентах, опыт мировой истории и опыт науки. Материал этих рядов опыта учит нас подходить ко всем догматам и тезисам динамически, уметь понять всякий тезис как звено в цепи религиозно-исторического развития и уметь расслоить его на два, а то и на три пласта. Глубиннейший пласт есть основа идеи, содержащая относительную частную истину. Другой пласт есть специфическая окраска, разработка, детализация идеи в той мере, в какой индивидуальный, расовый или эпохальный аспект ее оправдан, ибо именно такой и только такой расовый или эпохальный склад души дал возможность этому народу вообще воспринять эту идею. Самый же внешний, третий пласт – шелуха, абберации, неизбежная муть человеческих сознаний, сквозь которую проникает свет откровения. Следовательно, опыт всех стадий развития, в том числе политеистической, анимистической и пр., должен быть освобожден от своего внешнего пласта, от шелухи, заново осмыслен и включен в мировоззрение религии итога. Конечно, принцип такой работы здесь едва намечен, системы критериев нуждаются в огромной разработке, да и вообще такой пересмотр «религиозного наследия» – задача колоссальная, требующая совместного труда многих и многих; в настоящее время для нее нет даже и кадров, не говоря о прочих необходимых условиях. Но если эта задача велика, то чем скорее будет приступлено по крайней мере к подготовительной работе, тем лучше. Не надо преуменьшать трудностей, но есть все основания для надежд на то, что при условии доброй воли, при энергии и инициативности руководящих лиц пропасти и рвы, разделяющие ныне все религии, будут постепенно засыпаны, и хотя каждая из религий сохранит своеобразие и неповторимость, но некоторый духовный союз, некоторого рода уния сможет со временем объединить все учения «правой руки».

Известно, что многие японцы, исповедующие христианство, остаются в то же время верными шинтоизму. Правоверного католика или протестанта, да и православного тоже это коробит, он не может понять, как это психологически возможно, и даже ощущает в этом явлении нечто как бы кощунственное. Но безо всякого кощунства это возможно и даже совершенно естественно потому, что опыт христианства и опыт шинтоизма различествуют по горизонтали: они – о разном. Шинтоизм есть национальный миф. Это есть аспект мирового религиозного откровения, обращенный к народу японскому и только к нему. Это – осмысление духовной, лучше сказать, трансфизической реальности, надстоящей над японским народом и только над ним и проявлявшейся в его истории и культуре. В шинтоизме не найти ответов на вопросы космического, планетарного или общечеловеческого характера: о Творце мира, о происхождении зла и страдания, о путях космического становления. Он говорит только о метаистории Японии, о ее метакультуре, об иерархиях, ею народоводительствующих, и о небесном соборе просветленных душ, поднявшихся в высшие миры Шаданакара именно из Японии. Синкретизм японцев, то есть одновременное исповедание ими шинтоизма и католичества, шинтоизма и буддизма, есть не психологический парадокс, а, напротив, первый намек на то, как должны дополнять гармонически друг друга опыты и истины различных религий.

Конечно, прежде чем станет осуществимой уния между христианством и другими религиями и культами «правой руки» – а это есть одна из исторических задач Розы Мира, – естественно достичь воссоединения христианских церквей: подготовку такого воссоединения, богословскую, философскую, психологическую, культурную и организационную, Роза Мира будет проводить с неослабевающим воодушевлением. Пока воссоединения христианства не произошло, пока Восьмой вселенский собор (или несколько последовательных соборов) не рассмотрят весь объем старой догматики и не внесут в него ряд тезисов, основанных на

духовном опыте последней тысячи лет, пока они не санкционируют наивысшим авторитетом воссоединенного христианства тезисы учения Розы Мира, до тех пор эти тезисы могут, конечно, исповедоваться, утверждаться, проповедоваться, но не должны быть отлиты в замкнутые, завершенные, безусловные формы, рекомендуемые к исповеданию всем христианам.

В этом воссоединении христианских конфессий и в дальнейшей унии всех религий Света ради общего сосредоточения всех сил на совершенствовании человечества и на одухотворении природы Роза Мира видит свою надрелигиозность и интеррелигиозность.

Религиозная исключительность ее последователям не только чужда – она для них невозможна. Со-верчеству со всеми народами в их наивысших идеалах – вот чему учит ее мудрость.

Строение Розы Мира предполагает поэтому ряд концентрических кругов. Почитать пребывающими вне всеобщей церкви не должны последователи никакой религии «правой руки»; те же из них, кто еще не достиг сознания надрелигиозного единства, занимают внешние из этих кругов. Средние круги охватывают менее деятельных, менее творческих из числа последователей Розы Мира; внутренние же – тех, кто смысл своего существования положил в сознательном и свободном богосотворчестве.

Пусть христианин вступает в буддийский храм с трепетом и благоговением: тысячи лет народы Востока, отделенные от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горного. Сквозь дым курений здесь мерцают изваяния высоких владык иных миров и великих вестников, об этих мирах говоривших людям. Мирам этим не соприкоснулся западный человек; пусть же обогатятся его разум и душа хранимым здесь знанием.

Пусть мусульманин входит в индуистский храм с мирным, чистым и строгим чувством: не ложные боги взирают на него здесь, но условные образы великих духов, которых поняли и страстно полюбили народы Индии и свидетельство о которых следует принимать другим народам с радостью и доверием.

И пусть правоверный шинтоист не минует не приметного здания синагоги с пренебрежением и равнодушием: здесь другой великий народ, обогативший человечество глубочайшими ценностями, оберегает свой опыт о таких истинах, которыми духовный мир открылся ему – и никому более.

Розу Мира можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого – в небе, а лепестковая чаша – здесь, в человечестве, на земле. Ее стебель – откровение, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие ее лепестки, – благоухающий хорал религий. Но, кроме лепестков, у нее есть сердцевина: это – ее собственное учение. Учение это не есть механическое сочетание наиболее высоких тезисов различных теософов прошлого: кроме нового отношения к религиозному наследию, Роза Мира осуществляет новое отношение к природе, к истории, к судьбам человеческих культур, к их задачам, к творчеству, к любви, к путям космического восхождения, к последовательному просветлению Шаданакара. В иных случаях отношение это ново потому, что хотя отдельные деятели прошлого говорили о нем, но религией, но церковью оно принимается и исповедуется впервые. В других случаях отношение Розы Мира оказывается новым в безотносительном смысле, потому что его еще не высказывал никто никогда. Это новое отношение вытекает из нового духовного опыта, без которого, вместо Розы Мира, был бы возможен только рассудочный и бесплодный религиозный эклектизм.

Но прежде чем перейти к содержанию этого духовного опыта, к основам этого учения, предстоит уяснить, на каких путях души этот опыт приобретает и какими методами можем мы облегчить или ускорить для себя его приобретение.

ГЛАВА 1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА

Общеизвестно выражение: «религиозное чувство». Это выражение неправильное: религиозного чувства «вообще» не существует, а существует необозримый мир религиозных чувств и переживаний, бесконечно разнообразных, часто контрастирующих между собой, различных и по своему эмоциональному содержанию, и по объекту своей направленности, и по силе, и по тону, и, так сказать, своему цвету. Широты и многообразия этого мира даже не подозревает тот, кто лишен собственного религиозного опыта и заключает о нем только по свидетельствам других: свидетельства эти, при отсутствии личного опыта, почти всегда воспринимаются с недоверием, с предубеждением, со склонностью истолковывать их сообразно не с утверждениями самих свидетельствующих, а с догматическими положениями арелигиозных схем.

Многообразие мира религиозных чувств соответствует и многообразие методов религиозного познания. Излагать эти методы значит писать фундаментальное исследование по истории и психологии религий. Подобная задача не имеет никакого отношения к задаче настоящей книги. В задачу книги входит – как один из компонентов – намерение дать понятие лишь о некоторых методах религиозного познания, а именно тех, которые, как мне кажется, имеют наибольшее творческое значение на текущем историческом этапе.

Произошла бы самая печальная ошибка, если бы кто-нибудь заподозрил автора этой книги в претензиях на роль одного из основоположников великого дела – исторического, культурного и общественного – созидания того, что обозначается здесь словами «Роза Мира». Все обстоит совсем иначе. Роза Мира может явиться и появиться только в результате совместного труда огромного числа людей. Я убежден, что не только в России, но и во многих других краях Земли – в первую очередь, кажется, в Индии и Америке, происходит тот же процесс: та же грандиозная потусторонняя реальность вторгается в человеческое сознание, сначала – сознание единиц, потом сотен, чтобы позднее стать достоянием миллионов. Да, теперь, сейчас, вот в эту самую минуту, люди, еще ничего не знающие друг о друге, иногда разделенные огромными пространствами и рубежами государств, иногда – лишь стенами нескольких домов, переживают потрясающие прорывы сознания, созерцают трансфизическую высь и трансфизическую глубь, и некоторые силятся – каждый сообразно личным способностям и складу души – выразить или хоть приближенно отобразить этот опыт в творениях слова, кисти и музыки. Не знаю сколько, но, по-видимому, уже немало людей стоят в этом потоке откровения. И моя задача – выразить его так, как переживаю его именно я, – и только.

Следовательно, речь здесь пойдет не о научном строе мышления и познания и даже не о художественном, но о таком, понимание которого требует некоторой перестройки представлений, господствующих в России последние сорок лет.

Я полагаю, что серьезное вникновение исследователей, стоящих на высоте современной физиологии и психологии, в огромную апокалиптическую литературу, в автобиографические свидетельства духовных авторов и некоторых религиозных деятелей, имевших опыт подобного рода, непредубежденное изучение и обобщение материала, рассеянного в трудах по сравнительной религиологии, – все это приведет со временем к выработке научной методики, на основе которой удалось бы заложить фундамент гносеологии религиозного и, в частности, метаисторического познания. Можно себе представить возникновение научно-педагогической практики, ставящей целью овладеть механизмом этого познания, дать личности, до сих пор воспринимавшей этот процесс пассивно, способы вызывать его и управлять им, хотя бы отчасти.

Но все это – дело будущего, и притом не близкого. Пока несомненно только то, что многообразие этого процесса зависит и от субъекта, и от объекта познания. Нельзя объять необъятного; я могу говорить здесь лишь о том варианте процесса, с которым меня столкнула собственная жизнь. Придется идти на то, чтобы усилить в книге элемент автобиографический, хотя я лично, при любых иных обстоятельствах, этого элемента стремился бы избегать.

В центре внимания при этом будут три вида религиозного познания: метаисторический, трансфизический и вселенский. Впрочем, проводить вполне четкую границу между ними невозможно, да и не нужно.

Прежде всего: что, собственно, разумеется здесь под метаисторией?

Метаистория есть, говорит Сергей Булгаков, едва ли не единственный русский мыслитель, поставивший эту проблему ребром, – метаистория есть «ноуменальная сторона того универсального процесса, который одной из своих сторон открывается для нас как история»³. Мне думается, однако, что применение кантовской терминологии к проблемам этого порядка вряд ли поможет уяснению существа дела. Понятия ноуменального и феноменального были выработаны иным ходом мысли, вызваны иными философскими потребностями. Объекты метаисторического опыта могут быть втиснуты в систему этой терминологии лишь по способу Прокруста.

Еще неправомернее сближение метаистории с каким-либо из видов философии истории. Философия истории есть именно философия; метаистория же всегда мифологична.

Так или иначе, термин «метаистория» употребляется в настоящей книге в двух значениях.

Во-первых – как лежащая пока вне поля зрения науки, вне ее интересов и ее методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны, его собою в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода познания, который следует назвать метаисторическим.

Во-вторых – как лежащая пока вне поля зрения науки, вне ее интересов и ее методологии совокупность процессов, протекающих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки времени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами как история. Эти потусторонние процессы теснейшим образом с историческим процессом связаны, его собою в значительной степени определяют, но отнюдь с ним не совпадают и с наибольшей полнотой раскрываются на путях именно того специфического метода познания, который следует назвать метаисторическим.

Второе значение слова «метаистория» – это учение об этих процессах инобытия, учение, разумеется, не в научном, а именно в религиозном смысле.

Нет ничего удивительного в том, что возможность познания этих процессов обусловлена для различных индивидуумов рядом психологических, а может быть, и физиологических предпосылок. Очевидно, мы имеем здесь дело с некоторой врожденной предрасположенностью; мы столь же мало можем вызвать или уничтожить ее, как, например, врожденное свойство музыкальности. Однако самая эта способность может быть на протяжении жизни или заглушена, или просто остаться неиспользованной, как зарытый в землю талант, или, наконец, подвергнуться развитию, иногда даже чрезвычайно ускоренному. Научно-воспитательная система, которая кажется нам возможной в будущем, способствовала бы именно развитию этой способности. Пока же средства положительного воздействия на эту способность приходится нащупывать почти вслепую, и заметного развития ее на протяжении жизни не получилось бы, вероятно, совсем, если бы некоторые силы, действуя навстречу нашим усилиям, не брали бы на

себя огромный труд развития в нас соответствующих органов восприятия. Однако кажется весьма правдоподобным, что для возникновения процесса метаисторического познания необходимо, кроме врожденных свойств и деятельной помощи Провиденциальных сил, и кое-что приобретенное нами самими, например – наличие пусть скромного, но безусловного запаса положительных исторических сведений. Для человека совершенно невежественного, никак не переживающего своей связи с историческим потоком явлений, живи он в австралийской пустыне или в дебрях современного города-гиганта, метаисторический метод познания закрыт. Участием в накоплении вот этого именно запаса исторических сведений и ограничивается пока роль научного фактора в разбираемом психологическом процессе, точнее – в подготовке к этому процессу. Самый же процесс, по крайней мере, тот его вариант, который мне знаком, не имеет к научным формам познания ни малейшего отношения. Повторяю это и подчеркиваю.

Состоит он из трех последовательных стадий.

Первая стадия заключается в мгновенном внутреннем акте, совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без видимой предварительной подготовки, хотя, конечно, в действительности такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место.

Содержанием этого акта является молниеносное, но охватывающее огромные полосы исторического времени переживание нерасчленимой ни на какие понятия и невыразимой ни в каких словах сути больших исторических феноменов. Формой же такого акта оказывается сверх меры насыщенная динамически кипящими образами минута или час, когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в тихой и темной комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури – вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющей и в то же время переполняющей чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты, личность раньше не имела никакого представления. Синтетически охватываются единовременно целые эпохи, целый – если можно так выразиться – метаисторический космос этих эпох с великими, борющимися в нем началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет, зрительный элемент включается в них, как, может быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим элементам, как, например, океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Дать представление об этом переживании крайне трудно за отсутствием сколько-нибудь точных аналогий с чем-либо другим, более известным.

Переживание это оказывает потрясающее действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит все, что находилось раньше в круге сознания личности, что оно будет много лет питать собою душевный мир пережившего. Оно станет его драгоценнейшим внутренним достоянием.

Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется допустимым назвать ее метаисторическим озарением⁴.

Результат озарения продолжает храниться в душевной глубине, храниться не как воспоминание, а как нечто живое и живущее. Оттуда постепенно, годами, поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но еще больше остается их в глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывшегося ему космоса метаистории. Эти-то образы и идеи становятся объектом второй стадии процесса.

Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая: она представляет собою некоторую цепь состояний – цепь, пронизывающую недели и месяцы и проявляющуюся почти ежедневно. Это есть внутреннее созерцание, напряженное вживание, сосредоточенное вглядывание – иногда радостное, иногда мучительное – в исторические образы, но не замкнутые

в самих себе, а воспринимаемые в их слитности со второй, метаисторической реальностью, за ними стоящей. Выражение «вглядываться» я употребляю здесь условно, а под словом «образы» разумею опять-таки не зрительные представления только, но представления синтетические, включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцаемое может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере и явления иномерных слоев материальности; ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, но обычно отделенные как бы глухою стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия процесса отличалась пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии возможно, в известной мере, направляющее действие личной воли, – иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще, и как раз в наиболее плодотворные часы, образы всплывают непроизвольно, излучая, сказал бы я, такую завораживающую силу и приоткрывая такой многопланый смысл, что часы созерцания превращаются в ос– лабленные подобию минут озарения. При известной творческой предрасположенности субъекта образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем, осью художественных произведений; и сколь мрачны и суровы ни были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждение, которое вызывается их созерцанием.

Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать эту вторую стадию процесса.

Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть может, их общая композиция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены; иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, наполнения скитающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от воздействия внеличных и внерассудочных начал. Ясно поэтому, что именно на третьей стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка: вполне отделать я от этого, по-видимому, почти невозможно. Возможно другое: уловив внутреннюю природу метаисторической логики, удаются иной раз перестроить в ее направлении даже работу рассудка. Эту третью стадию процесса естественно назвать метаисторическим осмыслением.

Таким образом, метаисторическое озарение, метаисторическое созерцание и метаисторическое осмысление можно фиксировать как три стадии того пути познания о котором идет речь.

Оговорю возможность еще одного рода состояния представляющих разновидность состояний первой стадии. Это – озарение особого типа, связанное с переживанием метаисторических начал демонической природы; некоторые из них обладают огромною мощью и обширною сферой действия. Это состояние, которое было бы правильно назвать инфрафизическим прорывом психики, крайне мучительно и по большей части насыщено чувством своеобразного ужаса. Но, как и в остальных случаях, за этим состоянием тоже следуют стадии созерцания и осмысления.

Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане, зиждутся на личном опыте метаисторического познания. Концепция, являющаяся каркасом этих книг, выведена целиком из этого опыта. Откуда я взял эти образы? кто и как внушил мне эти идеи? как право имею я говорить с такой уверенностью? могу ли я дать какие-нибудь гарантии в подлинности своего опыта? – Теперь, здесь, в одной из вступительных частей книги «Роза Мира», я отвечаю на эти вопросы, как могу. В автобиографической конкретизации нет ничего для меня

привлекательного, я стараюсь ее свести к минимуму. Но в этот минимум входит, конечно, краткий отчет о том, где, когда и при каких обстоятельствах были пережиты мной часы метаисторического озарения.

Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень любивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших Храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские старожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне... – Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывавший историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания. Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти миновав промежуточную стадию созерцания. Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трех десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята и объяснена.

Второе событие этого порядка я пережил весной 1928 года в церкви Покрова-в-Левшине, впервые оставшись после пасхальной заутрени на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением – единственный раз в году – первой главы Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово». Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочередно, стих за стихом, на разных языках – живых и мертвых. Эта ранняя обедня – одна из вершин православного – вообще христианского – вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня – настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества.

В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, я захворал и ночью, в жару, приобрел некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня – ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением «третий уицраор». Странное, совсем не русское слово «уицраор» не выдуманно мною, а вторгло в сознание тогда же. Очень упрощенно смысл этого исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но несравненно превосходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту. Думаю, что если принять к употреблению термин «инфрафизические прорывы психики», то к этому переживанию он будет вполне

применим.

В ноябре 1933 года я случайно – именно совершенно случайно – зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищений назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь – один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. – В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму и – удивительно! – переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой.

В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и, после двухдневного пути через Карельский перешеек, вошел поздно вечером в осажденный Ленинград. Во время пути по безлюдному, темному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел третьего уицраора яснее, чем когда-либо до того, – и только веющее блистание от приближавшегося его врага – нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины – уберегло мой разум от непоправимого надлома⁵.

Наконец, нечто схожее, но уже полностью свободное от метафизического ужаса, было мною пережито в сентябре 1949 года во Владимире, опять-таки ночью, в маленькой тюремной камере, когда мои единственный товарищ спал, и несколько раз позднее, в 1950-53 годах, тоже по ночам, в общей тюремной камере. Для «Розы Мира» недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания. Но самое движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых Провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического познания, чем та, которая мною только что описана.

Сравнительно часто и многими изведен выход эфирного тела из физического вместилища, когда это последнее покоится в глубоком сне, и странствие по иным слоям планетарного космоса. Но, возвращаясь к дневному сознанию, путник не сохраняет о виденном никаких отчетливых воспоминаний. Хранятся они только в глубинной памяти, наглухо отделенной от сознания у огромного большинства. Глубинная память (анатомически ее центр помещается в мозгу) – это хранилище воспоминаний о предсуществовании души, а также о ее трансфизических странствиях, подобных описываемому. Психологический климат некоторых

культуры и многовековая религиозно-физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, нельзя не обратить внимание на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждения о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианстве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на безрелигиозной науке, ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц.

Я должен сказать совершенно прямо, что лично мною не было проявлено даже и этих усилий, по той простой причине, что я не знал, как к этому подойти, а руководителей у меня не было. Но было зато нечто иное, чем я обязан, вероятно, усилиям невидимых осуществителей Провиденциальной воли, а именно – некоторая приоткрытость, как бы на узенькую щелку, двери между глубинной памятью и сознанием. Сколь бы неубедительно ни прозвучало это для подавляющего большинства, но я не намерен скрывать того факта, что слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет, усилились в молодости и, наконец, на сорок седьмом году жизни стали озарять дни моего существования новым светом. Это не значит, будто бы совершилось полное раскрытие органа глубинной памяти, – до этого еще далеко, но значительность образов, оттуда подающихся, стала для меня столь осязательно ясна, а образы эти временами столь отчетливы, что качественное, принципиальное отличие их от обычных воспоминаний, а также от работы воображения становится несомненным.

Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытывшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые, вместе с тем, послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячею ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, – именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания. Часы метаисторического озарения участились. Длинные ряды ночей превратились в сплошное созерцание и осмысление. Глубинная память стала посылать в сознание все более и более отчетливые образы, озарявшие новым смыслом и события моей личной жизни, и события истории и современности. И, наконец, пробуждаясь утром после короткого, но глубокого сна, я знал, что сегодня сон был наполнен не сновидениями, но совсем другим: трансфизическими странствиями.

Если подобные странствия совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого, а под влиянием темных устремлений собственной души или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчетливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу, в ее посмертии, к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня все дальше и дальше от этих срывов в бездну.

Если же спуск совершается с вожатым – одним из братьев Синклита страны или Синклита Мира, если он имеет провиденциальный смысл и назначение, то путник, пробуждаясь и испытывая иногда то же сладостно-жуткое, искушающее чувство, в то же время осознает его соблазн, мало того: в его воспоминаниях обретается этому соблазну противовес: это – понимание грозного смысла существования этих миров и их подлинного лица, а не личины. Он не пытается вернуться в эти нижние слои посредством этического падения в плане своего

бодрственного бытия, но делает приобретенный опыт объектом религиозного, философского и мистического осмысления или даже материалом своих художественных созданий, имеющих наряду с другими значениями неперенный предупреждающий смысл.

На сорок седьмом году жизни я вспомнил и понял некоторые из своих трансфизических странствий, совершенных ранее; до этого времени воспоминания о них носили характер смутных, клочкообразных, ни в какое целое не слагавшихся хаотических полуобразов. Новые же странствия зачастую оставались в памяти так отчетливо, так достоверно, так волнуя все существо ощущением приоткрывшихся тайн, как не остается в памяти никакое сновидение, даже самое значительное.

Есть еще более совершенный вид таких странствий по планетарному космосу: тот же выход эфирного тела, те же странствия с великим вожатым по слоям восходящего или нисходящего ряда, но с полным сохранением бодрственного сознания. Тогда, вернувшись, путник приносит воспоминания еще более бесспорные и, так сказать, исчерпывающие. Это возможно только в том случае, если духовные органы чувств уже широко раскрыты и запоры с глубинной памяти сорваны навсегда. Это уже подлинное духовидение. И этого, конечно, я не испытал.

Насколько мне известно (возможно, впрочем, что я ошибаюсь), из европейских писателей этому был причастен пока один только Дант. Создание «Божественной комедии» было его миссией. Но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее излагаемая им система может быть принята в основных чертах, как панорама разноматериальных слоев романо-католической метакультуры.

Не смея и заикаться о чем-либо подобном, я имел, однако, великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днем, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку, лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызвала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого все мое существо приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего ее и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызвало потребность склонить перед ним колена, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызвало ощущение ликующей радости – мировой радости – и слезы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам.

Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других с заревами, в третьих – с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые

аккорды фонетических созвучий и значениях. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений – одно, из всех согласованно звучащих слогов – один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов.

Так, путь метаисторических озарений, созерцаний и осмысления был дополнен трансфизическими странствиями, встречами и беседами.

Дух нашего века не замедлит с вопросом: «Пусть то, что автор называет опытом, достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь большую объективную значимость, чем „опыт“ обитателя лечебницы для душевнобольных? Где гарантии?»

Но странно: разве ко всем явлениям духовной жизни, ко всем явлениям культуры мы подходим с требованием гарантии? а если не ко всем, то почему именно к этим? Ведь мы не требуем от художника или композитора гарантии «достоверности» их музыкальных наитий и живописных видений. Нет гарантии и в передаче религиозного и, в частности, метаисторического опыта. Без всяких гарантий опыту другого поверит тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии – все равно их не примет тот, кому этот строй чужд. На обязательности принятия своих свидетельств настаивает только наука, забывая при этом, как часто ее выводы сегодняшнего дня опрокидывались выводами следующего. Чужды обязательности, внутренне беспредельно свободны другие области человеческого духа: искусство, религия, метаистория.

Впрочем, смешивать эти области между собой, полагать, например, будто метаисторическая форма познания является какою-то оригинальной и редкой разновидностью художественного творчества, – было бы самой примитивной ошибкой. На некоторых стадиях они могут соприкасаться, да. Но возможен метаисторический познавательный процесс, начисто свободный от элементов художественного творчества, а процессы художественного творчества, не имеющие никакого отношения к метаистории, – воистину бесчисленны.

Но и в области религий – до сих пор лишь немногочисленные разновидности их действительно обогащены метаисторическим познанием. Интересно отметить, что в русском языке слово «откровение» в буквальном смысле равнозначное греческому «апокалипсис», не помешайте, однако, этому последнему прочно обосноваться на русской почве. При этом за каждым из двух слов закрепился особый оттенок смысла. Значение слова «откровение» более общее: если не замыкаться в узко-конфессиональные рамки, придется включить в число исторических случаев откровения и такие события, как видения и восхищения Мухаммеда и даже озарение Гаутамы Будды. Апокалипсис же – только один из видов откровения: откровение не областей универсальной гармонии, не сферы абсолютной полноты, даже не круга звездных или иных космических иерархий; это – откровение о судьбах народов, царств, церквей, культур, человечества, и о тех иерархиях, кои в этих судьбах проявляют себя наиболее действенно и непосредственно: откровение метаистории. Апокалипсис не так универсален, как откровение вселенское, он иерархически ниже, он – о более частом, о расположенном ближе к нам. Но именно вследствие этого он отвечает на жгучие запросы судьбы, брошенной в горнило исторических катаклизмов. Он заполняет разрыв между постижением универсальной гармонии и диссонансами исторического и личного бытия.

Как известно, богаты таким откровением были лишь немногие народы и в немногие века: апокалиптика возникла среди еврейства, по-видимому, около VI века до Р. Х., захватила раннее христианство и дольше всего держалась в средневековом иудействе, питаясь жгучей атмосферой

его мессианизма.

В христианстве же, в частности в восточном, апокалиптическая форма познания почти совершенно утратилась еще в начале средних веков, внезапно вспыхнув тусклым, мечущимся, чающим пламенем в первое столетие великого русского раскола. Здесь неуместно вдаваться в анализ сложных и многочисленных причин этого ущерба, но невозможно не отметить его связь с тем антиисторизмом религиозного сознания и мира религиозных чувств, который останавливает наше внимание еще у византийских отцов церкви и прямо-таки поражает у представителей русского православия, даже у крупнейших, у таких, в праведности и в наивысшем духовном опыте которых не может быть сомнения. Антиисторизм становится словно обязательным канонem религиозной мысли. Поучительно вспомнить о нерешенных конфликтах между официальным антиисторизмом русского церковного миропонимания и врожденной, иррациональной тягой к апокалиптической форме познания, к метаистории, в духовных и творческих биографиях светских православных писателей и мыслителей: Гоголя, Хомякова, Леонтьева, Достоевского, Владимира Соловьева, Сергея Булгакова.

Но утешение в том, что прикосновение к метаистории может осуществляться и совсем иначе, чем это было разобрано здесь. Об этом свидетельствует тот элемент метаисторического опыта, который можно обнаружить зачастую под огромной толщей антиисторизма – кажущегося или подлинного. Чувство, замечательно переданное Тютчевым, когда личность ощущает себя участницей некоей исторической мистерии, участницей в творчестве и борьбе великих духовных – лучше сказать трансфизических сил, мощно проявляющихся в роковые минуты истории, – разве, не обладая этим чувством, могла бы совершить свой подвиг Жанна д'Арк? Разве мог бы св. Сергей Радонежский – по всему остальному своему мирочувствию настоящий анахорет и аскет – принять столь решительное, даже руководящее участие в политических бурях своего времени? Могли ли бы без этого чувства значительнейшие из пап век за веком пытаться осуществить идею всемирной иерократии, а Лойола – создать организацию, сознательно стремящуюся овладеть механизмом исторического становления человечества? Могли бы Гегель без этого чувства, одною работою разума, создать «Философию истории», а Гете – II часть «Фауста»? Разве мыслимо было бы самосожжение раскольников, если бы ледяной ветер эсхатологического, метаисторического ужаса не остудил в них всякую привязанность к миру сему, уже подпавшему, как им казалось, власти антихриста? Смутное метаисторическое чувство, не просветленное созерцанием и осмыслением, часто приводит к искаженным концепциям, к хаотическим деяниям. Не ощущаем ли мы некий метаисторический пафос в выпренных тирадах вождей Французской революции, в доктринах утопического социализма, в культе Человечества Огюста Конта или в призывах ко всемирному обновлению путем разрушения всех устоев – призывах, принимающих в устах Бакунина тот оттенок, который заставляет вспоминать страстные воззвания иудейских пророков, хотя оратор XIX века вкладывает в эти воззвания новый, даже противоположный мирочувствию древних пророков, смысл? Подобных вопросов можно было бы задавать еще сотни. Непременные же ответы на них приведут к двум важным выводам. Во-первых, станет ясно, что в общем объеме как западной, так и русской культуры подспудный слой апокалиптических переживаний можно обнаружить в неисчислимом количестве явлений, даже чуждых ему на первый взгляд. А во-вторых – что метаисторическое чувство, метаисторический опыт, неосознанный, смутный, сумбурный, противоречивый, вплетается то и дело в творческий процесс: и художественный, и религиозный, и социальный, и даже политический.

Говоря о метаисторическом методе познания, я незаметно перешел к трансфизическому: странствия и встречи, рассказанные мною, отчасти относятся уже к областям трансфизического познания. Ведь я говорил уже, что далеко не всегда можно четко классифицировать эти явления; этого не нужно было бы вовсе, если бы не хотелось внести некоторую ясность в сложный и

малоисследованный ряд проблем.

Может быть, некоторые выскажут удивление: почему вместо общепонятного слова «духовный» я так часто употребляю термин «трансфизический». Но слово «духовный» в его строгом смысле закономерно относить только к Богу и к монадам. Термин же «трансфизический» применяется ко всему, что обладает материальностью, но иной, чем наша, ко всем мирам, существующим в пространствах с другим числом координат и в других потоках времени. Под трансфизикой (в смысле объекта познания) я понимаю всю совокупность таких миров вне зависимости от процессов, там протекающих. Такие процессы, связанные со становлением Шаданакара, составляют метаисторию; связанные со становлением Вселенной – метаэволюцию; познание метаэволюции есть познание вселенское. Слово же «трансфизика» в смысле религиозного учения означает учение о структуре Шаданакара. Объекты метаисторического познания связаны с историей и культурой, трансфизического – с природой нашего слоя и других слоев Шаданакара, а вселенского – со Вселенной. Таким образом, те явления, которые я назвал трансфизическими странствиями и встречами, могут быть, в зависимости от своего содержания, отнесены либо к метаисторическому роду познания, либо к трансфизическому, либо ко вселенскому.

После этой небольшой оговорки ничто уже не препятствует перейти к рассмотрению двух остальных родов религиозного познания, – но, разумеется, только в тех их вариантах, которые знакомы лично мне.

ГЛАВА 2. НЕМНОГО О ТРАНСФИЗИЧЕСКОМ МЕТОДЕ

Казалось бы, отношение людей к природе бесконечно разнообразно, индивидуально, а иногда и внутренне антиномично. Но если проследить эволюцию этого отношения во всеобщей истории культуры от изобретения письменности до наших дней, можно обнаружить несколько типов его, лучше сказать – фаз. Я позволю себе здесь весьма упрощенно, в самых общих чертах, наметить три-четыре очень важные фазы так, как они мне представляются. Это не подлинная картина того, как это отношение изменялось в культурах и веках, а лишь несколько грубых мазков, назначение которых скорее в том, чтобы ввести читателя внутрь проблемы, нежели в создании у него исторической перспективы по этому вопросу.

Наиболее ранняя фаза характеризуется тем, что космос кажется крайне миниатюрным, а Земля – единственным обитаемым миром. Зато этот мир, кроме нашей физической среды, обладает рядом других слоев, тоже материальных, но их материальность – другой природы и других свойств, чем наша; первое приближение к трансфизической действительности Шаданакара. Все эти слои, равно как и наш, лишены развития. Они сотворены раз и навсегда и обитаемы добрыми и злыми существами. Для этих существ человек – центр их интересов и, так сказать, яблоко раздора. Сам же человек не осознает Природу как нечто вне его лежащее и не противопоставляет себя ей. Отдельные проявления Природы возбуждают, конечно, те или иные чувства – страх, удовольствие, благоговение, но Природа как целое, по-видимому, почти не воспринимается или воспринимается в чисто эстетическом плане, да и то лишь отдельными людьми, высоко одаренными художественным чувством. Поэтому редко можно найти среди памятников искусства этих эпох лирику природы и еще реже – пейзажную живопись. К этой фазе относятся, в основном, культуры древности, а также некоторые более поздние культурные формы Востока. В религиозном отношении для первой фазы характерен политеизм.

Для второй фазы типичны те монотеистические системы, которые или игнорируют Природу, не проявляя к ней интереса, или враждебны ей. Рост личности приводит к представлению, что человек может совершенствоваться. Природа же не подает признаков развития, она косна и статична, она неморальна и неразумна, она во власти демонических сил, и та часть человеческого существа, которая единосущна Природе, требует либо порабощения ее духом, либо поработает его сама. Это – фаза природоборческая. Ее прошли и христианские, и буддийские, и индуистские народы; на ней остановилось (пока совпадало со своей национальной религией) еврейство. Последнее однако, равно как и народы ислама, не столько стремилось к борьбе с Природой, сколько проходило мимо нее. Семитическое чувство Природы вообще отличалось скудостью. Давно уже отмечено, как бедны были этим чувством авторы библейских книг и Корана сравнительно с теми, кто создавал великие эпопеи Эллады и, особенно, Индии Семиты отдавали Природе неизбежную дань, осеняя религиозной санкцией воспроизведение рода, но в своей духовной философии и искусстве стремились игнорировать ее с многозначительной последовательностью. Они сделали у себя фактически невозможной скульптуру и портретную живопись, потому что боялись обожествить человека и ненавидели обоготворение стихии. Как и другие элементы семитизма, эта природоборческая тенденция перешла с христианством в Европу, подавила природные культы германского и славянского язычества и господствовала до конца средних веков. Но и Востоку пришлось пройти через эту фазу, хотя и окрасив ее по-своему. Аскетичность крайних проявлений брахманизма, борьба буддизма за высвобождение человеческого Я из-под власти Природы – все это слишком общеизвестно, чтобы на нем останавливаться. Таким образом, если в первой фазе Природа как целое почти не осознавалась, а поэтизировалась и боготворилась в отдельных своих

проявлениях, то во второй она была осознана как начало враждебное, покорное демоническим силам.

Третья фаза связана с эрой господства науки и с оскудением мира религиозных чувств. Унаследовав от христианства природоборческое начало, человек третьей фазы освобождает его от религиозного смысла, отказывается от преодоления природных элементов в собственном существе и обосновывает к природе строго утилитарный подход. Природа есть объект разумного (научного) исследования, – во-первых; она есть сонмище бездушных сил, которое надо покорить на потребу человека, – во-вторых. Физический кругозор неизмеримо расширяется; знание структуры и законов нашего слоя достигает головокружительной глубины; в этом – ценность третьей фазы. Но напрасно толкуют о любви к природе естествоиспытателей. Интеллектуальную любовь можно испытывать только к продукции интеллекта: можно умом любить идею, мысль, теорию, научную дисциплину. Так можно любить физиологию, микробиологию, даже паразитологию, но не лимфу, не бактерии и не блох. Любовь к природе может быть явлением физиологического порядка, может быть явлением порядка эстетического, наконец – порядка этического и религиозного. Явлением только одного порядка она не может быть: интеллектуального. Если отдельные специалисты-естественники и любят природу, то это чувство не имеет никакой связи ни с их специальностью, ни вообще с научной методикой познания Природы: это чувство или физиологического, или эстетического порядка.

Однако наибольшего противопоставления себя Природе цивилизованное (по крайней мере, западное) человечество достигло не в XX веке, как это могло бы показаться, но в XVII, XVIII и начале XIX века. Никогда моды не были так искусственны, как во времена пудренных париков. Никогда близлежащие к человеку участки Природы не уродовались так рассудочно и противоестественно, как в эпоху Версальского парка. Аристократа времен Людовиков так же немыслимо вообразить берущим солнечную ванну или гуляющим босиком, как нельзя представить себе спартанку времен греко-персидских войн – в корсете и в ботинках на высоких каблуках. Во всем этом проявлялось отношение к Природе, генетически коренившееся в христианском аскетизме, но в ходе развития заменившее духовный снобизм – снобизмом цивилизации, религиозную гордыню – гордыней рассудка, а ко всему, печатью рассудочности не отмеченному, не испытывавшее ничего, кроме насмешливого презрения.

Философия Руссо знаменует собою поворотный пункт. Но должно было протечь полтора столетия, мир должен был вступить в эпоху городов-гигантов, чтобы тоска по Природе стала понятна человеческому большинству. Поэты Озерной школы в Англии, Гете и романтики в Германии, Пушкин и в особенности Лермонтов в России любили Природу высокой эстетической, а некоторые и пантеистической любовью. Возникла Барбизонская школа живописи, и к концу XIX века эстетическая любовь завоевала незыблемое право на бытие в культуре; в XX веке развилась и любовь физиологическая. Зрительное созерцание Природы стало уже недостаточным: появилась потребность ощущать стихии осязательно и моторно, всей поверхностью тела и движением мускулов. Этой потребности отвечали отчасти туризм и спорт; и, наконец, в 1-й половине нашего столетия пляж, с его физиологическим растворением человека в солнечном свете, тепле, воде, игре, плотно и прочно вошел в повседневную жизнь. Тот самый пляж, который во времена Ронсара или Ватто показался бы непристойной выходкой сумасшедших, а в средние века был бы приравнен к шабашам ведьм на Лысой горе и, пожалуй, к черной мессе. Если вообразить Торквемаду, внезапно перенесенного в качестве зрителя на пляж в Остенде или в Ялте, вряд ли можно усомниться в том, что мысль о немедленном аутодафе из тысяч этих бесстыдных еретиков сразу возникла бы в голове этого охранителя душ человеческих.

Может быть, ничто так наглядно не иллюстрирует уменьшение пропасти между человеком и стихиями за последний век, как эволюция одежды. Пальто и головные уборы, неотступно

сопровождаящие «образованного» человека даже в летний полдень, стали употребляться лишь в меру климатической необходимости. 50 лет назад казалось неприличным выйти из дому без перчаток; теперь ими пользуются только в холода. Вместо сюртуков и крахмальных манишек, в которых бонтонно прели наши деды даже при тридцатиградусной жаре, жизнь стала завоевываться безрукавками с открытым воротом. Ноги, изнывавшие в высоких ботинках, почувствовали прелесть тапочек и босоножек. Женщины освободились от кошмара корсетов, летом вошли в обиход укороченные снизу и открытые сверху платья, а платья длинные уцелели только в качестве вечерних туалетов. Дети, чьи прадеды в соответствующем возрасте чинно расхаживали даже в июле в гимназических куртках и с фуражкой на голове, бегают босиком, в одних трусах, до черноты зацелованные солнцем. Человек мирового города, отдалившийся от Природы на такое расстояние, как еще никогда, затосковал об ее «жарких объятиях» и возвращается к ней, еще почти бессознательно, инстинктивной телесной любовью, но в накопленном историческом опыте своей души неся семена нового, совершеннейшего отношения к Природе. Такова четвертая фаза.

Итак, четыре фазы: языческая, аскетическая, научно-утилитарная и инстинктивно-физиологическая.

Резюмировать можно так. Ко 2-й половине нашего века в образованных и полубразованных слоях нации, принадлежащих к романо-католической, германо-протестантской и российской культурным зонам, установилось два отношения к природе, пока друг другу почти не противоречащие. Одно – старое: утилитарно-хозяйственно-научное, совершенно чуждое любви. Оно сосредоточило взор на использовании заключенных в Природе ресурсов энергии и измеряет все критерием материальной выгоды для человечества или, что еще хуже, для некоторых из антагонистических его частей; с этой точки зрения оно одобряет также спорт, пляж, туризм. Сторонники этого отношения из интереса к тому, «как это устроено?», спокойно потрошат заживо кошек и собак, а для удовлетворения атавистического охотничьего инстинкта подкарауливают зайцев и куропаток. Может быть, в первом случае имеется в виду и любовь к человечеству: ибо из Монбланов собачьих трупов извлекают, наконец, крупицу познания, например условных рефлексов; этим, как известно, просвещается алчущий ум и двигается вперед медицина. Но любви к Природе здесь нет и тени. Больше того: такое отношение к Природе аморально, потому что никакие интересы живых существ, кроме человека, не принимаются во внимание, и потому, что на всю Природу устанавливается взгляд, как на дойную корову. К счастью, такое отношение начинает смягчаться более новым: бессознательно-эгоистически-физиологической любовью к Природе, иногда осложненной привнесением эстетики.

Но это развитие еще не привело к осознанию того, что возможно и необходимо, сохраняя старые оттенки любви к природе, за исключением, конечно, аморально-утилитарного отношения к ней, безмерно обогатить это отношение смыслом этическим и религиозным. Не пантеистическим, когда человек только смутно ощущает присутствие в Природе некоей безличной, равномерно разлитой божественной силы, – нет. Это уже было, и первобытный праанимизм – доказательство того, что пантеистическое чувство цивилизованных людей есть не что иное, как трансформация древнейшего переживания арунгвильты-праны. Нет! перед нами – иное. Перед нами – отношение несравненно более нравственное и сознательное, более четкое, развитое и изощренное, более жизнерадостное, более активное. Оно может быть основано только на том опыте, когда человек непосредственно ощущает сквозь Природу богатейшие и многообразнейшие миры стихий. Ощущает – то есть, вступает в общение, все яснее понимая возможности счастливой и творческой с ними дружбы, прекрасного перед ними нашего долга и горькой, старинной нашей вины.

Правда, неясное чувство вины перед Природой, в особенности перед животными, стало сказываться. Возникли общества охраны животных, любовь к ним стала поощряться даже школьной педагогикой, а охрану зеленых насаждений взял на себя такой прославленный источник любви, как государство. К сожалению, исходимте оно при этом только из соображении хозяйственной пользы, а что касается охраны животных, то благотворители получили от ученых-естественников жестокий урок: после горячих дискуссий вивисекция явочным порядком заняла в науке место одного из ведущих методов. Оправдывая себя пользой для человечества, этот позор человечества накрепко обосновался в университетах, лабораториях и даже в той самой средней школе, которая учит ребят любить кошечек и собачек.

Каково же отношение к Природе со стороны того мирозерцания, которое может лечь в основу учения Розы Мира?

Вопрос очень обширный; однако нетрудно, мне кажется, заключить, в чем будет состоять главная особенность этого отношения. Ведь восприятие Розы Мира отличается прежде всего ощущением прозрачности физического слоя, переживанием просвечивающих сквозь него слоев трансфизики, горячей любовью к этому переживанию и его старательное выпестывание. Это ощущение охватывает сферу культуры и истории – и отливается в учение метаисторическое; оно обращается к Солнцу, Луне, звездному небу – и делается основой учения вселенского, то есть метаэволюционного; оно охватывает земную природу – и находит свое выражение в учении о стихиях. Учение же о стихиях оказывается ветвью более общего учения о структуре Шаданакара – учения трансфизического.

Сколь ни были бы замутнены древние представления о стихиях (духах стихий в самом широком смысле) побочными примесями, внесенными ограниченностью человеческого воображения и ума, сколько бы aberrации ни искажало в пантеонах политеистических религий образы природных божеств – в самой основе этих вер лежит истина.

Но, конечно, нам предстоит постигать и почитать миры стихий уже совсем иначе, чем удавалось это народам древности. Опыт последующих стадий обогатил нас, расширил знания и обострил мистическую мысль.

Главные отличия нашей веры в стихии от веры древних вот в чем.

Древние антропоморфизировали свои представления о стихийных божествах; мы больше не ощущаем потребности придавать стихиям человекоподобный образ.

Древние смотрели на эти миры как на нечто, раз навсегда данное и неизменное; мы отдаем себе отчет в факте их эволюции, хотя и непохожей на эволюцию нашего органического мира, и будем стремиться постичь ее пути.

Древние могли переживать связь с отдельными слоями стихий, но неотчетливо разграничивали их друг от друга, а о путях становления этих монад у них не возникло даже догадок. Собственно говоря, они не обладали ясным представлением о множественности этих слоев. Для нас же множественность и взаимосвязь этих слоев и пути становления обитающих там монад делаются объектом трансфизического познания.

Древние были не в состоянии нарисовать себе общую картину планетарного космоса; мы гораздо четче дифференцируем каждый слой и включаем его со всеми его специфическими особенностями в общую панораму Шаданакара.

Древние не могли примирить веру в эти миры с верой в Единого; для нас – между обеими этими верами нет никакого противоречия.

И надо добавить еще, что свои духовные обязанности по отношению к стихиям древние видели в умиловании их и восхвалении – и только; мы же будем стремиться осуществлять нашу связь с ними в готовности участвовать в их играх и творчестве, в привлечении их благотворного участия в нашу жизнь – возможные пути к этому будут показаны в

соответствующих главах – и, наконец, в нашей собственной помощи светлым стихиям и в работе над просветлением темных.

Такое отношение к Природе сочетает языческую жизнерадостность, монотеистическую одухотворенность и широту знаний научной эры, все эти элементы претворяя в высшее единство собственным духовным опытом рождающейся религии итога.

Распространено заблуждение, будто бы всякое религиозное мировоззрение враждебно жизни, подменяя все ценности нашего мира ценностями миров иных. Такое обобщение не более законно, чем, например, утверждение, будто бы искусство живописи уводит от мира, сделанное на том основании, что такова была отчасти живопись средних веков. Враждебно жизни религиозное кредо определенной фазы, да и то лишь в крайних его проявлениях. То же мироотношение, о котором я говорю, не уводит от мира, а учит любить его горячей и бескорыстной любовью. Оно не противопоставляет «миры иные» миру сему, но все их воспринимает, как великолепное целое, как ожерелье на груди Божества. Разве хрустальная лампада меньше нравится нам оттого, что она прозрачна? Разве мы будем меньше любить наш мир оттого, что сквозь него просвечивают другие? Для человека, чувствующего так, и эта жизнь хороша, и смерть может быть не врагом, а добрым вожатым, если достойно прожитая жизнь на земле предопределяет переход в иные – не менее, а еще более насыщенные, богатые и прекрасные формы миров.

Но через что же, какими путями достигается человеком это сквозящее мировосприятие? Приходит ли оно независимо от наших усилий воли, как счастливый дар судьбы, или может быть нами сознательно воспитано в самих себе и в целых поколениях?

Пока объединенные усилия множества людей еще не направлены на такое воспитание, до тех пор радость сквозящего мировосприятия остается, действительно, милостью Божией и для получения ее мы почти не затрачиваем сил. Долгим трудом только наших невидимых друзей сердца, носителей Провиденциальной воли, раскрываются в ком-нибудь из нас органы такого восприятия, а чаще, гораздо чаще приоткрываются на узкую, то и дело снова притворяющуюся щель. Но и такой приоткрытости достаточно, чтобы уже началось сквозение физического мира и чтобы осчастливленный им стал похож на зреющего слепого.

Вызвать этот процесс совершенно произвольно – в себе или в другом – вряд ли возможно, по крайней мере теперь. Но можно работать в этом направлении так, чтобы в каждом из нас или наших детей этот труд шел навстречу труду Провиденциальных сил; чтобы в психофизических пластах как бы прорывался туннель одновременно с двух сторон: нами – и друзьями нашего сердца.

Колоссальная задача такой педагогики сейчас может быть только предсказана как одна из задач будущей культурной эры. Требуется еще огромная предварительная работа по изучению и систематизации опыта. На этом я подробнее остановлюсь в одной из последних частей книги. Сейчас же сообщу лишь несколько необходимых сведений о двух-трех возможных вариантах этой методики. Варианты эти и многие другие, здесь не оговоренные, могут, разумеется, быть совмещены и помогать один другому.

Есть одно предварительное условие: без него никакие усилия в этом направлении ни к чему бы не привели. Это – собственная готовность человека добиваться сквозения ему того хрустального сосуда, который мы называем Природой. Значит, процесс этот доступен либо для тех, кто сам допускает возможность существования миров стихий (без этого можно желать не сквозения физического слоя, а только, наоборот, чтобы из этого ничего не вышло, дабы мой научный скепсис восторжествовал), либо для детей, если это доверие к стихиям и любовь к Природе с ранних лет укрепляются старшими. Естественно, что тот, кто заранее отрицает бытие этих миров, тот и сам не станет тратить время и силы на подобные опыты. И если бы даже, в

качестве эксперимента, он вздумал сделать несколько усилий, он бы ничего не достиг, потому что его собственное недоверие постоянно распространялось бы на полученные результаты, он приписывал бы эти результаты самовнушению или чему-нибудь в этом роде. Шаг вперед – шаг назад. Толчая на месте.

Итак, если требуемое внутреннее условие налицо, надо озаботиться созданием необходимых условий внешних. Легко догадаться, что речь идет о таких периодах (месяца полтора, два в году), когда современный человек, освобождаясь от работы ради хлеба насущного, может позволить себе уединиться среди природы. Мне думается, летом условия благоприятнее, потому что именно летом, при высоком стоянии солнца, развитии растительности и обнажении земной поверхности и водных пространств, активность стихий умножается во много раз за счет участия новых и новых слоев их. Не говорю уж о том, что обычно именно летом горожане уезжают в отпуска, то есть хоть на месяц получают возможность общения с Природой. Хотя, надо сказать прямо, за месяц далеко не продвинешься, а в двухнедельные отпуска предпринимать подобные попытки и вовсе бесполезно. Оговорюсь также, что некоторым из нас зимняя природа индивидуально ближе, и в таких случаях, конечно, следует считаться с этой предрасположенностью.

Может быть, от меня ждет кто-нибудь точных указаний, вставать тогда-то, ложиться тогда-то, придерживаться такого-то распорядка дня. Таких мелочных рекомендаций я предпочел бы избегать. В чем задача? В том, чтобы войти возможно глубже в Природу, в жизнь стихий, и войти притом не как разрушителю и не как любознательному испытателю, а как сыну, после многолетних скитаний на чужбине возвращающемуся в отчий дом. Для решения такой задачи – одной индивидуальности будет естественнее и полезнее одно, для другой – другое. Я хотел бы только рассказать, какие именно условия помогали мне лично.

Выбрав на это время некоторую, как теперь говорят, «базу» в красивом и, разумеется, малолюдном месте, следовало прежде всего избегать засорения души и ума всякими мелочными житейскими заботами. Нужно было ослабить связь с большим городом, реже пользоваться радио и постараться возможно долее обходиться без газет, если, конечно, мир не находился в состоянии крайне тревожного неравновесия. Быт свой необходимо было упростить, одежду сделать возможно легче, а о существовании обуви забыть совсем. Купаться два-три раза в день в реке, в озере или в море, найдя для этого такое место, где можно оставаться на это время с Природой один на один. Читать такие книги, которые способствовали бы мирному, доброжелательному настроению и временами помогали бы мыслям вживаться в глубь Природы; естественно-научная литература не может быть полезна в такие дни, так как настраивает на совершенно другой лад: еще более уводят в сторону занятия точными науками и техникой. Лучшие – хорошие стихи, некоторые классики художественной литературы: Тургенев, Диккенс, Эркман-Шатриан, Тагор (но, конечно, не такие, как Стендаль, Золя, Свифт или Щедрин). Хорошо перечитывать в это время классические произведения детской литературы, вроде «Тома Сойера» или «Детей капитана Гранта», и литературы о детях. Да и частое общение, игры и разговоры с детьми в это время могут только помочь делу. Быть может, некоторых я спугну одним указанием, но, к сожалению, оно совершенно твердо: сведение к минимуму мясной и рыбной пищи и отказ от обильного употребления вина. И – требование совершенно безусловное: чтобы ни охоты, ни рыбной ловли не было и в помине.

В такой атмосфере начинались путешествия: словами «прогулки» или «экскурсии» их называть не хочется. Это были уходы на целый день, от зари до заката, или на три-четыре дня вместе с ночевками – в леса, в блуждания по проселочным дорогам и полевым стежкам, через луга, лесничества, деревни, фермы, через медленные речные перевозки, со случайными встречами и непринужденными беседами, с ночлегами – то у костра над рекой, то на поляне, то

в стогу, то где-нибудь на деревенском сеновале. Близости к машинам, разговоров на технические темы и чтения подобной литературы я всячески избегал, разве что пользуясь иногда механическим транспортом. Потом – возвращение на свою уединенную «базу», несколько дней отдыха и слушания крика петухов, шелеста вершин да голосов ребят и хозяев, чтение спокойных, глубоких и частых книг – и снова уход в такое вот бродяжничество. Этот образ жизни может вызвать иной раз недоумения, подшучивание; на понимание рассчитывать не нужно, а люди, занятые на сельских работах, даже склонны будут видеть в таком чуде праздношатающегося лентяя: большинство крестьян пока что умеют считать делом только свою собственную работу. Это не должно смущать. Надо уметь пренебрегать чужим мнением, если чувствуешь собственную правоту.

Но все это – указания о внешнем. Можно все лето до изнеможения слоняться по лесам и полям, а вернуться ни с чем. Внешние условия должны быть дополнены некоторыми усилиями ума и чувства. В чем они заключаются?

В том, что человек постепенно приучается воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира как живое, глубоко осмысленное и к нему дружественное. Будет усиливаться, постепенно охватывая все ночи и дни. чувство, неизменно царящее над сменой других мыслей и чувств: как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову все ниже и ниже в мерцающую тихим светом, укачивающую глубь – извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты; хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органнй шум вершин да постукивание дятла. Надо доверять тому, что стихииали Лиурны уже радуются тебе и заговорят с твоим телом, как только оно опустится в текучую плоть их; что стихииали Фальторы или Арашамфа уже поют тебе песни шелестящей листвой, жужжанием пчел и теплыми воздушными дуновениями. Когда по заливным лугам, пахнущим свежескошенным сеном, будешь возвращаться на закате домой с далекой прогулки, поднимаясь в нагретый воздух пригорков и опускаясь в прохладные низины, а тихий туман начнет заливать все, кроме вершук стогов, – хорошо снять рубашку и пусть ласкают горячее тело этим туманом те, кто творит его над засыпающими лугами.

Можно было бы указать еще сотни таких минут – от загорания на песке до собирания ягод – полудействия, полусозерцания, – но о них догадается и без указаний тот, кто вступит на этот легкий и светлый путь. Ведь такой уклад возможен не только в Средней России, но и в природном ландшафте любой другой страны, от Норвегии до Эфиопии, от Португалии до Филиппин и Аргентины. Соответственно будут меняться только детали, но ведь они могут меняться и в пределах одного ландшафта сообразно личным наклонностям. Главное – создать внутри себя этот свет и легкость и повторять подобные периоды, по возможности, каждый год.

– Что за нелепость, – подумают иные. – Как будто мы не располагаем исчерпывающими данными, отчего и как возникают туманы, ветер, роса, не знаем механики образования дождя, рек, растительности? И такие сказки преподносятся с серьезным видом в середине XX столетия! Недаром автор намекает на то, что ему легче столкнуться с детьми: зрелому человеку не пристало слушать такие басни.

Они заблуждаются, эти абсолютисты научного метода познания: ни малейшего противоречия науке здесь не имеется. Подчеркиваю: науке, объективной и серьезной, а не философской доктрине материализма. Ведь если бы существовало какое-нибудь разумное микроскопическое существо, изучающее мой организм и само в него входящее, оно имело бы основание сказать, в ту минуту, как я шевельнул рукой, что эта глыба вещества, состоящая из таких-то и таких-то молекул, дернулась оттого, что сократились некоторые ее части – мускулы.

Сократились же они потому, что в моторных центрах произошла такая-то и такая-то реакция, а реакция была вызвана такими-то и такими-то причинами химического порядка. Вот и все! Ясно как день. И уж, конечно, такой толкователь возмутился бы, если бы ему вздумали указать, что «глыба» шевельнулась потому, что таково было желание ее обладателя, свободное, осознанное желание, а мускулы, нервы, химические процессы и прочее – только передаточный механизм его воли.

Изучением этого механизма занимается физиология. Это не мешает существованию психологии – науки о том сознании, которое этим механизмом пользуется.

Изучением стихий природы как механизмов занимаются метеорология, аэродинамика, гидрология и ряд других наук. Это не должно и не будет мешать со временем возникновению учения о стихиях, о тех сознаниях, которые пользуются этими механизмами.

Лично у меня все началось в знойный летний день 1929 года вблизи городка Триполье на Украине. Счастливо усталый от многоверстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен: передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастья. Я ступил на самую кромку поля и, с колотящимся сердцем, прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой, на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чье ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странное: я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью вводят меня, как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир. Я осторожно ступил шага два в гущу растений и, закрыв глаза, слушал их прикосновения, их еле слышно позванивающий шорох и пылающий повсюду божественный зной. С этого началось. Правда, я вспоминаю переживания этого рода, относящиеся к более ранним годам, отроческим и юношеским, но тогда они не были еще такими захватывающими. Но и раньше, и позже – не каждый год, но иногда по несколько раз за одно лето – случались среди природы, обязательно наедине, минуты странной, опьяняющей радости. Они являлись, по большей части, тогда, когда за плечами оставались уже сотни верст, пройденных пешком, и когда я неожиданно попадаю в незнакомые мне места, отмеченные пышностью и буйством свободно развивающейся растительности. Весь, с головы до ног, охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чем, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь хлещущие кусты и наконец бросался в траву, чтобы осязать ее всем телом. Главное было в том, что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чье бытие таинственно связано с этой растительностью, водой, почвой.

В последующие годы я проводил лето, по большей части, в области Брянских лесов, и там произошло со мною многое, воспоминание о чем составляет отраду моей жизни, но особенно люблю я вспоминать свои встречи со стихиями Лиурны – теми, кого я тогда называл мысленно душами рек.

Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжение многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный как в оранжерее, вызывают томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка, – такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И

в самом деле: характер леса начал меняться, сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскаленная, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поемная луговина, и, обогнув купу деревьев, я увидел в десятке метров перед собой излучину долгожданной речки: дорога пересекала ее вброд. Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя смеялось мне навстречу! Шириной в несколько шагов, вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых раkit и ольшаника, она струилась точно по зеленым пещерам, играя мириадами солнечных бликов и еле слышно журча.

Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, – вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в ее теле, а моей души – в ее душе, я лег, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времен. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова.

Быть может, кто-нибудь сказал бы, что и он жила в лесах и купался в реках, и он хаживал по лесам и полям, и он, стоя на тетеревином току, испытывал состояние единения с природой, и, однако же, ничего, схожего со стихиями, не ощутил. Если так скажет охотник, удивляться будет нечему: в этом разрушителе природы стихии видят врага и осквернителя, и нет более верного способа сделать невозможной их близость, как захватить с собой в лес охотничье ружье. Если же это скажет не охотник – пусть он со вниманием припомнит недели своей жизни среди природы и сам обнаружит свои нарушения тех условий, о которых я с самого начала предупреждал.

Нельзя, конечно, заранее определить длительность этапов этого познания: сроки зависят от многих обстоятельств, объективных и личных. Но рано или поздно наступит первый день: внезапно ощутишь всю Природу так, как если бы это был первый день творения и земля блаженствовала в райской красоте. Это может случиться ночью у костра или днем среди ржаного поля, вечером на теплых ступеньках крылечка или утром на росистом лугу, но содержание этого часа будет везде одно и то же: головокружительная радость первого космического прозрения. Нет, это еще не означает, что внутреннее зрение раскрылось: ничего, кроме привычного ландшафта, еще не увидишь, но его многослойность и насыщенность духом переживешь всем существом. Тому, кто прошел сквозь это первое прозрение, стихии станут еще доступнее; он будет все чаще слышать какими-то, не имеющими названия в языке, способностями души повседневную близость этих дивных существ. Но суть «первого прозрения» уже в другом, высшем. Оно относится не к трансфизическому познанию только, но и к тому, для которого мне не удалось найти иного названия, кроме старинного слова «вселенский». В специальной литературе этот род состояний освещался многими авторами. Уильям Джемс называет его прорывом космического сознания. По-видимому, оно может обладать весьма различной окраской у различных людей, но переживание космической гармонии остается его сутью. Методика, которую я описал в этой главе, способна, в известной мере, приблизить эту минуту, но не следует надеяться, что такие радости станут частыми гостями дома нашей души. С другой стороны, состояние это может охватить душу и безо всякой сознательной подготовки: такой случай описывает, например, в своих «Воспоминаниях» Рабиндранат Тагор.

Легко может статься, что человек, не раз испытывавший среди Природы чувство всеобщей гармонии, подумает, что это и есть то, о чем я говорю. О, нет. Прорыв космического сознания – событие колоссального субъективного значения, каких в жизни одного человека может быть весьма ограниченное число. Оно приходит внезапно. Это – не настроение, не наслаждение, не счастье, это даже не потрясающая радость, – это нечто большее. Потрясающее действие будет оказывать не оно само, а скорее воспоминание о нем; само же оно исполнено такого блаженства, что правильнее говорить в связи с ним не о потрясении, а о просветлении.

Состояние это заключается в том, что Вселенная – не Земля только, а именно Вселенная – открывается как бы в своем высшем плане, в той божественной духовности, которая ее пронизывает и объемлет, снимая все мучительные вопросы о страдании, борьбе и зле.

В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек – подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника еще и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы – не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто – друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы.

Необозримый, как море, сосновый бор сменился чернолесьем, как всегда бывает в Брянских лесах вдоль пойм речек. Высились вековые дубы, клены, ясени, удивлявшие своей стройностью и вышиной осины, похожие на пальмы, с кронами на головокружительной высоте; у самой воды серебрились округлые шатры добродушных ракит, нависавших над заводями. Лес подступал к реке точно с любовной осторожностью: отдельными купами, перелесками, лужайками. Ни деревень, ни лесничеств... Пустынность нарушалась только нашей едва заметной тропкой, оставленной косарями, да закругленными конусами стогов, высившихся кое-где среди полей в ожидании зимы, когда их перевезут в Чухраи или в Непорень по санной дороге.

Плесов мы достигли в предвечерние часы жаркого, безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костер в двух метрах от тихо струившейся реки, под сенью трех старых ракит, сготовили немудрящий ужин. Темнело. Из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы, товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой.

И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди – народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой – действительно все было во мне тою ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли со всеймировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнца не виделось, было так,

словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною не виданным, пронизано было все это, – все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью.

Пытаясь выразить словами переживания, подобные этому, видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка. Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка, в том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины.

Позднее я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все те внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точно месте, в такие же ночи. Все было напрасно. Оно пришло ко мне опять столь же внезапно лишь двадцать лет спустя, и не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере.

О, это еще только начало. Это еще не то просветление, после которого человек становится как бы другим, новым – просветленным в том высшем смысле, какой вкладывается в это слово великими народами Востока. То просветление – священнейшее и таинственнейшее: это раскрытие духовных очей.

Большого счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет. Счастье глухого и слепорожденного, внезапно, в зрелые годы пережившего раскрытие телесного зрения и слуха, – лишь тусклая тень.

Об этом я могу только повторять, если можно так выразиться, понаслышке. Есть замечательная страница в поэме Эдвина Арнольда «Свет Азии», где описывается такое состояние, сделавшее одного искателя тем, кто ныне известен всему человечеству как Гаутама Будда.

Вот это описание.

Речь идет о вступлении Будды в состояние «абхиджны» – широкое прозрение «в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц,двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами... где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого – одним из серебристых островов на сапфировом море, вздымающемся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел Владык Света, которые держат миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрестанное сияние жизни из вечно меняющихся центров до самых последних пределов пространства. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд кальп и махакальп⁶ – до предела времен, которого ни один человек не может охватить разумом. Сакуалу за сакуалой проникнул он в глубину и высоту и прозревал за пределами всех сфер, всех форм, всех светил, всякого источника движений. То незыблемое и безмолвно действующее Великое, согласно Которому тьма должна развиваться в свет, смерть – в жизнь, пустота – в полноту, бесформенность – в форму, добро – в нечто лучшее, лучшее – в совершеннейшее; это невысказываемое Великое сильнее самих богов: Оно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это – Власть созидающая, разрушающая и воссоздающая, направляющая все и вся к добру, красоте и истине».

Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. И тем не менее, утешение в том, что каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времен, может быть, уже совсем в другой, не человеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния, и превзойдет его, и оставит его за собой.

А наше дело – делиться с другими тем лучшим, что мы имеем. Мое лучшее – то, что я пережил на путях трансфизического и метаисторического познания. Затем и пишется эта книга. В двух последних главах я показывал, как сумел, важнейшие вехи своего внутреннего пути. Все дальнейшее будет изложением того, что на этом пути было понято о Боге, об иных мирах и о человечестве. Постараюсь больше не возвращаться к вопросу о том, как это было понято; настало время говорить о том, что понято.

ГЛАВА 3. ИСХОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

1. Многослойность

Наш физический слой – понятие, равнозначное понятию астрономической Вселенной, – характеризуется, как известно, тем, что его Пространство обладает тремя координатами, а Время, в котором он существует, – одной. Этот физический слой в терминологии Розы Мира носит наименование Энроф.

На арене современной науки и на арене современной философии все еще длится спор о бесконечности или конечности Энрофа в пространстве, о его вечности или ограниченности во времени, а также о том, охватывается ли Энрофом все мироздание, исчерпываются ли его формами все формы бытия.

Открытие понятия антивещества; возникновение из физической пустоты и даже искусственное извлечение из нее физически материальных частиц, дотоле пребывавших в мире отрицательной энергии; экспериментальное подтверждение теории, указывающей, что физическая пустота Энрофа заполнена океаном частиц другой материальности, – все эти факты суть вехи пути, по которому медлительная наука следует от представлений классического материализма к таким, которые весьма отличны и от них, и от позиций старой идеалистической философии. Очень вероятно, что путаница, которую вносят в эту проблематику сторонники материалистической философии, утверждая, будто бы все ее противники лишь повторяют зады идеализма, – один из приемов в той последней битве, которую дает материалистическое сознание прежде чем съехать, как говорится, на тормозах, сдавая одну свою позицию за другой и уверяя в то же время, будто бы именно это предвиделось и давно утверждалось классиками материализма. В частности, очень любопытно будет наблюдать, к каким ухищрениям прибегнет эта философия в недалеком будущем, когда ей придется, под давлением фактов, вводить в круг своих понятий понятие антиматерии.

Первичность материи по отношению к сознанию, принципиальная познаваемость всей Вселенной и в то же время ее бесконечность и вечность – эти наивные тезисы материализма, выработанные на минувших стадиях науки, могут еще удерживаться в обращении лишь путем напряженных натяжек, а главное – благодаря вмешательству сил, имеющих отношение не столько к философии, сколько к полицейской системе. Однако многие тезисы классических религий не выдерживают экзамена современной науки в такой же мере. Новое же познание, метаисторическое и трансфизическое, не покрывая области научных знаний, по существу не противоречит науке ни в чем, а в некоторых вопросах предвосхищает ее выводы.

Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции Розы Мира. Под каждым слоем понимается при этом такой материальный мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом временных координат. Рядом с нами, сосуществуют, например, смежные слои, Пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но Время которых имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях Время течет несколькими параллельными потоками различных темпов. Событие в таком слое происходит синхронически во всех его временных измерениях, но центр события находится в этом или в двух из них. Ощутительно представить себе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя действуют преимущественно в одном или двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают их все. Эта синхроничность бытия дает особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас. Немного опережая ход изложения, добавлю сейчас, что большое число временных координат в сочетании с минимальным (одна, две)

числом пространственных становится для обитателей таких слоев, напротив, источником страдания. Это схоже с сознанием ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы, с воспоминанием о заманчивых возможностях, которыми субъект не в состоянии воспользоваться. Подобное состояние в Энрофе некоторые из нас назвали бы «кусанием локтей» или мукою Тантала.

За редкими исключениями, вроде Энрофа, число временных измерений превышает, и намного, число пространственных. Слоев, имеющих свыше шести пространственных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет. Число же временных достигает в высших из этих слоев брамфатуры огромной цифры – двести тридцать шесть.

Неправильно было бы думать, перенося специфические особенности Энрофа на другие слои, будто все преграды, отделяющие слой от слоя, непременно так же малопроницаемы, как преграды, отделяющие Энроф от слоев других измерений. Встречаются, правда, преграды, ограничивающие один слой, и еще менее проницаемые, еще плотнее изолирующие его от остальных. Но таких мало. Гораздо больше таких групп слоев, внутри которых переход из слоя в слой требует от существа не смерти или труднейшей материальной трансформы, как у нас, но лишь особых внутренних состояний. Есть и такие, откуда переход в соседние обусловлен не большим количеством усилий, чем, скажем, переход из одного государства земного Энрофа в другое. Несколько таких слоев складываются в систему. Каждую такую систему слоев или ряд миров я привык мысленно называть индийским термином сакуала. Впрочем, наряду с сакуалами встречаются и слои-одиночки, подобно Энрофу.

Слои и целые сакуалы разнствуют между собой также и характером протяженности своего пространства. Отнюдь не все они обладают протяженностью космической, какой обладает Энроф. Как ни трудно это вообразить, но пространство многих из них гаснет на границах солнечной системы. Другие еще локальнее: они как бы заключены в пределах нашей планеты. Немало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с каким-нибудь из ее физических пластов или участков. Ничего, схожего с небом, в таких слоях, понятное дело, нет.

Будучи связаны между собой общими метаисторическими процессами, обладая – в большинстве – как бы парой враждующих духовных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют огромную, тесно взаимодействующую систему. Я уже говорил, что такие системы называются брамфатурами. Общее число слоев в некоторых из них ограничивается единицами, а других – насчитывает несколько сот. Кроме Шаданакара, общее число слоев которого ныне двести сорок два, в солнечной системе существуют теперь брамфатуры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также некоторых спутников больших планет. Брамфатура Венеры находится в зародыше. Остальные планеты и спутники столь же мертвы в других слоях своих, как и в Энрофе. Это – руины погибших брамфатур, покинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брамфатурами никогда.

Многослойные системы материальностей, до некоторой степени аналогичные брамфатурам, но несравненно более колоссальные, объемлют некоторые звездные группы, например – большинство звезд Ориона или систему двойной, со многими планетами, звезды Антарес: еще колоссальнее системы галактик и всей Вселенной. Это – макробрамфатуры. Известно, что есть макробрамфатуры с огромным числом разноматериальных слоев – до восьми тысяч. Ничего, схожего с крайней материальной разряженностью, так называемой «пустотой» Энрофа, в макробрамфатурах нет.

Легко понять, что макробрамфатуры находятся вне досягаемости даже для величайших из человеческих душ, ныне обитающих в Энрофе. Иначе, чем в отдаленных предчувствиях, никаких конкретных сведений о них не может непосредственно почерпнуть никто. Такие сведения иногда достигают до нас от высоких духов Шаданакара, неизмеримо более великих, чем мы,

через посредство невидимых друзей нашего сердца. Но и такие сообщения крайне трудны для нашего восприятия. Так, мне было почти невозможно понять странную и скорбную весть о том, что в макробрамфатурах нашей Галактики существует материальный слой, где есть пространство, но нет времен, – нечто вроде дыры во Времени, притом внутри себя обладающей, однако, движением. Это – страдалище великих демонов, царство темной вечности, но не в смысле бесконечно длящегося Времени, а в смысле отсутствия всяких времен². Такая вечность не абсолютна, ибо Время может возникнуть и там, и именно в этом – одна из задач огромных циклов космического становления. Потому что только возникновение времен сделает возможным освобождение из этого галактического ада великих страдальцев, заключенных там.

Молекулы и некоторые виды атомов входят в состав крошечных систем – микробрамфатур, причем существование некоторых из них во времени исчезающе мало. Однако это довольно сложные миры, и не следует упускать из виду, что элементарные частицы – живые существа, а иные из них обладают свободой воли и вполне разумны. Но общение с ними, а тем более личное, непосредственное проникновение в микробрамфатуры фактически невозможно. Ни в одном из слоев Шаданакара нет в настоящее время ни одного существа, на это способного: это пока превышает силы даже Планетарного Логоса. Только в макробрамфатурах Галактики действуют духи столь невообразимой мощи и величия, что они способны одновременно спускаться во множество микробрамфатур: для этого такой дух должен, сохраняя свое единство, одновременно воплотиться в миллионах этих мельчайших миров, проявляясь в каждом из них со всею полнотой, хотя и в ничтожно малые единицы времени.

Я все время говорю о, так или иначе, материальных слоях, ибо духовных слоев как слоев не существует. Различие между духом и материей скорее стадияльное, чем принципиальное, хотя дух творится только Богом, эманурует из Него, а материальности создаются монадами.

Дух в своем первичном состоянии, не облаченный ни в какие покровы, которые мы могли бы назвать материальными, представляет Собою субстанцию, которую мы не точно, а лишь в порядке первого приближения можем сравнить с тончайшей энергией. Духовны только Бог и монады – бесчисленное множество богорожденных и богосотворенных высших Я, неделимых духовных единиц; они разнствуют между собой степенью своей врожденной потенциальной масштабности, неисчерпаемым многообразием своих материальных облачений и дорог своей жизни. Высоко поднявшаяся монада может быть там, здесь, во многих точках мироздания одновременно, но она не вездесуща. Дух же Божий воистину вездесущ. – Он пребывает даже там, где нет никаких монад, например, в покинутых всеми монадами руинах брамфатур. Без Него не может существовать ничто, даже то, что мы называем мертвой физической материей. И если бы Дух Божий покинул ее, она перестала бы быть – не в смысле перехода в другую форму материи или в энергию но совершенно.

2. Происхождение зла. – Мировые законы. – Карма

Если миф о восстании и падении Люцифера рассматривать в применении к духовной истории Шаданакара, он потеряет смысл. Никаких событий в метаистории нашей планеты, которые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не совершалось никогда. Совершилось однажды, весьма давно, нечто иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, сохранились в некоторых других мифах, например – в сказании о бунте титанов. Об этом, впрочем, предстоит говорить подробнее в другой связи. Что же до легенд, связанных с восстанием и падением Люцифера, то эти события совершились некогда в плане вселенском, в превышающих все категории нашего разума масштабах той макробрамфатуры, которая объемлет Вселенную. Совершилось то, что, будучи переведено духовидцами древности в плоскость эпохальных

человеческих понятий, отлилось в этот миф. Эпохальные понятия отмерли, масштабы наших представлений расширились неизмеримо, и если теперь мы хотим уловить в этом мифе бессмертное и истинное семя идеи, мы должны пренебречь всем эпохальным, внесенным в него, и остановиться лишь на одном центральном факте, им утверждаемом.

Естественно, что сознание даже мудрейших в те времена отстояло от теперешних представлений об объемах и структуре Вселенной так далеко, что ведение вселенского, просачивавшееся в их сознание благодаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдавливалось, стискивалось в тесном объеме их эмпирического опыта, их сильного, но не обогащенного и не истончившегося ума. Впрочем, мало чем легче и задачи того, кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях и словах хоть отзвук вселенской тайны о восстании так называемого Денницы. Такая попытка состояла бы из двух стадий: в выискивании в океане наших понятий именно тех, которые ближе других к отражению этой запредельной реальности – во-первых; в выискивании в океане нашего языка таких словосочетаний, которые в состоянии хоть скольконибудь отразить, в свою очередь, эти ускользающие понятия – во-вторых. Но такая работа связана с органическим ростом личности и ее вселенского опыта. Ее нельзя форсировать по собственной прихоти. Я чувствую себя находящимся лишь в начале этой работы. Поэтому говорить что-либо о вселенских событиях этого порядка я не могу, кроме обнаженной констатации некогда совершившегося факта: в незапамятной глубине времен некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером или Денницей, выражая неотъемлемо присущую каждой монаде свобод выбора, отступил от своего Творца ради создания другой вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание ими другой вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что, восстав, богоотступнические монады этим самым отвергли любовь – единственный объединяющий, цементирующий принцип.

Вселенский план Провидения ведет множество монад к высшему единству. По мере восхождения их по ступеням бытия формы их объединений совершенствуются, любовь к Богу и между собой сближает их все более. И когда каждая из них погружается в Солнце Мира и сотворит Ему – осуществляется единство совершеннейшее: слияние с Богом без утраты своего неповторимого Я.

Вселенский замысел Люцифера противоположен. Каждая из примкнувших к нему монад – только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада, от величайших до самых малых, лелеет мечту – стать владыкою Вселенной: гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех – именно она. Ею руководит своего рода «категорический императив», выражаемый до некоторой степени формулой: есмь Я и есть не-Я; все не-Я должно стать мною, другими словами, все и все должны быть поглощены этим единственным, абсолютно самоутверждающимся Я. Бог отдает Себя; противобожеское начало стремится вобрать в себя все. Вот почему оно есть, прежде всего, вампир и тиран, и вот почему тираническая тенденция не только присуща любому демоническому Я, но составляет неотъемлемую его черту.

Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но, по существу, они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти их группой скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший.

Трагичность для демонов хода космической борьбы обусловлена еще и тем, что Господь творит новые и новые монады, демоны же неспособны сотворить ни одной, и соотношение сил непрерывно увеличивается не в их пользу. Новых отпадений не совершается и не совершится больше никогда, этому есть абсолютные гарантии, и я глубоко сожалею, что исключительная трудность этой проблемы не позволяет мне найти нужный ряд понятий для того, чтобы

изложить ее сколько-нибудь вразумительно. Во всяком случае, все демонические монады – очень древнего происхождения, все они – давние участники великого восстания. Правда, совершались и позже, совершаются и теперь – не отпадения, а нечто, внешне схожее: высокосознательное существо, иногда даже целая группа их, временно противопоставляют себя Провиденциальной воле. Но этот богоборческий выбор совершается не самою монадою, а низшим Я, душевным, ограниченным сознанием. Поэтому богоборческая деятельность его протекает не в духовном мире, но в материальных мирах, подвластных, по воле самих же демонов, закону возмездия. Этим самым бунт оказывается заранее обречен, совершивший его вступает на длительный путь искупления.

Постепенно, в ходе борьбы, безуспешность попыток демонических сил создать собственную вселенную стала уясняться ими самими; продолжая создавать отдельные миры и прилагая невероятные усилия к упрочению их существования, они в то же время поставили перед собой и другую цель: завладеть мирами уже существующими или ныне творящимися Провиденциальными силами. Отнюдь не разрушение миров, а именно завладение ими – такова их цель, но разрушение миров – объективное следствие подобного завладения. Лишенные объединяющего принципа любви и сотворчества, цементируемые лишь противоречивым принципом насилия, миры не могут существовать сколько-нибудь длительное время. Есть разрушающиеся галактики. И когда астрономические наблюдения внегалактических туманностей охватят более длительный период, чем сейчас, процессы этих мировых катастроф приоткроются взору науки. Есть погибшие и погибающие планеты: Марс, Меркурий, Плутон – руины брамфатур; все монады Света были изгнаны из этих систем, подпавших демоническому господству, вслед за чем последовала завершающая катастрофа и демонические полчища оказались бесприютно мечущимися в мировом пространстве в поисках нового объекта вторжения.

Но есть макробрамфатуры и целые галактики, вторгнуться в которые силам восставшего не удалось. Внутри нашей Галактики системою, полностью освободившейся от демонических начал, является Орион – макробрамфатура необычайного могущества духовного Света. Тот же, кто будет созерцать в рефлектор великую туманность Андромеды, увидит воочию другую галактику, не знавшую демонических вторжений никогда. Это мир, с начала до конца восходящий по ступеням возрастающих блаженств. Среди миллионов галактик Вселенной таких миров немало, но наша Галактика, к сожалению, не входит в их число. Давно низвергнутые из макробрамфатуры Вселенной, силы Восставшего ведут в мирах нашей Галактики безостановочную, неустанную, миллионы форм приобретающую борьбу против сил Света; ареной борьбы оказался и Шаданакар.

Он стал такою ареною еще в те отдаленные времена, когда в Энрофе Земля представляла собой полурасплавленный шар, а другие слои Шаданакара, исчислявшиеся еще однозначными цифрами, только создавались великими иерархиями макробрамфатур. Там не было закона взаимопожирания: там, в мирах существ, которые теперь нам известны под общим именем ангелов, господствовал принцип любви и дружбы всех. Не было закона смерти: каждый переходил из слоя в слой путем материальной трансформы, свободной от страдания и не исключавшей возможности возврата. В этих мирах, тогда обладавших только тремя измерениями пространства и, следовательно, почти таких же плотных, как Энроф, не было, однако, закона возмездия: совершенные ошибки исправлялись с помощью высших сил. Проблески воспоминаний об этом, из сокровищниц глубинной памяти поднимавшиеся в сознание древних мудрецов, но сниженные и упрощенные их сознанием, привели к кристаллизации легенды об утраченном рае. В действительности, не рай, а прекрасная заря, и не над земным Энрофом, тогда еще лишенным органической жизни, а над миром, который теперь

называется Олирной, сияла тогда и сохранилась в памяти тех немногих человеческих монад, которые не явились в Шаданакар позднее, как большинство, а начинали в нем свой путь во времена, более давние, чем древность, и не в Энрофе, а в ангельской Олирне. Это содружество праангелов можно назвать, в известном смысле, первым человечеством Шаданакара.

Великий демон, один из сподвижников Люцифера, вторгся в Шаданакар с полчищами меньших. Имя его Гагтунгр. То была длительная и упорная борьба; она увенчалась его частичной победой. Изгнать силы Света из брамфатуры ему не удалось, но удалось создать несколько демонических слоев и превратить их в неприступные цитадели. Ему удалось вмешаться в процесс возникновения и развития жизни в земном Энрофе и поставить на животном царстве свою печать. Планетарные законы, с помощью которых начинали создавать органическую жизнь в Энрофе силы Света, неузнаваемо исказились. Ложно и кощунственно приписывать Божеству законы взаимопожирания, возмездия и смерти. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы».

От Бога только спасение. От Него только радость. От Него только благодать. И если мировые законы поражают нас своей жестокостью, то это потому, что голос Бога возвышается в нашей душе против творчества Великого Мучителя. Взаимная борьба демонических монад, победа сильнейшего, а не того, кто более прав, и низвержение побежденного в пучину мук – этот закон люциферических сил отобразился на лице органического мира Энрофа, выразившись здесь в законе «борьбы за существование». Всякое страдание существа, всякая его боль и мука дают излучение – и здесь, в Энрофе, и там, в мирах посмертия. Всякое его чувство, всякое волнение его душевного естества не может не давать соответствующего излучения. Излучения злобы, ненависти, алчности, похоти животных и людей проникают в демонические слои, восполняя убыль жизненных сил у различных классов и групп их обитателей. Но этих излучений едва достаточно, чтобы они восполняли убыль сил именно у отдельных демонических сообществ. Зато излучение страдания и боли – оно называется гаввах – способно насыщать гигантские толпы демонов почти всех видов и рангов. По существу, гаввах – их пища. Налагая свою лапу на законы Шаданакара, Гагтунгр искажал их так, чтобы породить и умножить страдание. Он делал их тягостными, жестокими, нестерпимыми. Он воспрепятствовал водворению в Энрофе закона трансформы; как равнодействующая обоих борющихся начал, возникла смерть и стала законом. Он воспрепятствовал принципу всеобщей дружбы; как равнодействующая обеих сил, появилось взаимопожирание и стало законом жизни. И, наконец, демонические силы вмешались в жизнь других слоев Шаданакара – тех, через которые пролегал путь существ, хоть раз воплотившихся в земном Энрофе: эти слои были обращены в миры возмездия, где царствуют мучители, впивая страдания страдальцев. Среди различных видов гавваха особое значение имеет тот, который связан с истечением физической крови. Когда кровь людей и животных вытекает из организма, то в первые минуты этого процесса она выделяет жгучее излучение особой силы. Поэтому некоторые классы демонов заинтересованы не столько в смерти живых существ Энрофа и не в загробном страдании их душ, сколько именно в кровопролитиях. Ни одно кровопролитие в истории не происходило и не происходит без неосознанного нами внушения этих потусторонних кровопийц. И кровавые жертвоприношения в некоторых древних культах были ужасны не только своей жестокостью, но и тем, что питали собою отнюдь, конечно, не богов, а именно этих демонов.

Для восполнения сил Света Планетарным Логосом – первой и величайшей монадой Шаданакара – был создан новый слой и положено начало новому человечеству. Энроф был оставлен животному царству; новый же слой населился титанами, обликом напоминавшими нас, но огромными и великолепными. В мире, напоминавшем Энроф, только пока еще сумрачном, их светящиеся фигуры двигались на фоне сине-серого, свинцового неба, по склонам и выгибам пустынных гор, их совершенствуя. Человечество титанов исчислялось несколькими тысячами.

Пола они были лишены, рождение новых не связывайтесь с союзом двух старших никак. Но Гагтунгр сумел вызвать их бунт простив Промысла. Идея их заключалась в том, что они – семя и ядро нового мирового начала, третьего, противостоящего и Богу, и демонам. Они жаждали абсолютной свободы своих Я, но жестокость и злобу демонов ненавидели. Бунт завершился тем, что силы Гагтунгра, пользуясь законом возмездия, вовлекли души титанов в глубокие мучилища. Там длилась их пытка свыше миллиона лет, пока, с помощью Провиденциальных сил, им не удалось вырваться из плена. Теперь большинство из них совершают свой путь среди человечества, выделяясь на общем фоне масштабом своей личности и особым сумрачным, хотя отнюдь не темным ее колоритом. Их творчество отмечено смутным воспоминанием богоборческого подвига, как бы опалено древним огнем и поражает своею мощью. От демонических монад их дух отличен порывом к Свету, презрением к низменному и жаждой божественной любви⁸.

В последние тысячелетия до Христа могущество Гагтунгра было так велико, что в потусторонних слоях многих метакультур человечества у возмездия был отнят его временный характер. Выход из страданий был для мучающихся наглухо закрыт и у них отнята надежда.

Этот закон возмездия, железный закон нравственных причин и следствий – тех следствий, которые могут проявляться и в текущей жизни, но во всей полноте проявляются в посмертии и даже в следующих воплощениях, – можно назвать индийским термином карма. Карма есть такая же равнодействующая двух противоположных волей, как закон смерти и закон борьбы за существование. Если бы демонические силы не встречали постоянных препятствий со стороны своих врагов, законы были бы еще тяжелее, потому что демоническая цель законов – порождать гаввах и парализовать проявления подпавших им душ Света. У законов есть и другая сторона, это – их очищающее значение. Это остаток древнейших светлых празаконов миротворивших прекрасных иерархий; цель этих иерархий и всех светлых сил Шаданакара – смягчение и просветление законов; цель демонических – еще большее их утяжеление.

Замысел Провидения – спасение всех жертв. Замысел Гагтунгра – превращение всех в жертвы.

Богочеловечество следующего мирового периода будет добровольным единением всех в любви. Дьяволочеловечество – по-видимому, его не удастся избежать в конце текущего периода – будет абсолютной тиранией одного.

Космос есть поприще становящихся монад. Антикосмос – всемирный союз соперников и скопище ущербленных светлых монад, плененных ими в мирах, над которыми господствуют демоны. У этих пленников отнят священнейший их атрибут: свобода выбора.

Несоизмеримостью своих масштабов с масштабами Люцифера вселенной Гагтунгр не смущен: он, как и все демонические монады, понимает свою малость лишь как стадию. Слепая вера в безграничное свое возрастание и победу неотъемлема от его Я. Так верит в свой грядущий макрогалактический триумф любая из этих монад, сколь бы миниатюрна она ни была в настоящее время и какое подчиненное место ни занимала бы в иерархии восставших. Поэтому любая из них, и Гагтунгр в том числе, – тиран не только в идеале и не только в данный момент, но и на каждой стадии в той мере, в какой это позволяет власть, достигнутая на этой стадии. Тирания вызывает такое обильное выделение гаввах, как никакой другой принцип водительства. Впивание гаввах увеличивает запас демонической мощи. Если бы демон стал восполнять убыль своих сил за счет вливания других психических излучений – радости, любви, самоотвержения, религиозного благоговения, восторга, счастья, – это переродило бы его естество, он перестал бы быть демоном. Но он не хочет именно этого. И тиранией, только тиранией может он обуздать центробежные силы внутри подчинившихся ему демонических множеств. И потому же совершаются иногда в метаистории (а отраженно – и в истории) акты

отпадения и обратного восстания отдельных демонических монад против Гагтунгра. Подобные восстания поддержаны силами Света не могут быть, ибо любая из таких монад есть в потенции такой же планетарный демон; если бы она оказалась сильнее Гагтунгра, она сделалась бы еще большим мучителем, чем он. Не надо, впрочем, забывать, что не столь уж редки случаи восстания отдельных демонических монад не против Гагтунгра как такового, а против демонического миропорядка вообще. Такие восстания – не что иное, как обращение демонических монад к Свету, и ясно, что им оказывается тогда всемерная помощь Провиденциальных сил.

При всей сатанинской мудрости мировых замыслов Гагтунгра, замыслы эти зыбки именно вследствие указанных причин, ибо шансы обуздать все демонические монады мира, и в будущем самого Люцифера, для планетарного демона исчезающе малы.

Но неутолимое стремление ко вселенскому господству составляет источник единственно понятных ему радостей: он испытывает подобные радости всякий раз, когда малейшая частная победа кажется ему шагом, приближающим к конечной цели. Победы же эти заключаются в порабощении других монад или их душ: демонических – как полусоюзников, полурабов, светлых – как узников и объектов мучительства. Насколько Гагтунгр может вообразить космическое грядущее, он рисует самого себя как некое солнце, вокруг которого бесчисленные монады вращаются по концентрическим кругам, одна за другою падая в него и поглощаясь, – и постепенно вся Вселенная приходит в это состояние вращения вокруг него, погружаясь, мир за мирами, в чудовищно разбухшую гипермонаду. Вообразить дальнейшее демонический разум бессилён. Меньшие из этих монад не способны нарисовать даже и такого апофеоза. Незыблемо веруя в свою конечную победу над Вселенной, они сосредоточивают волю и мысль на более близких, легче представимых стадиях.

3. К вопросу о свободе воли

Существует некоторое предубеждение, некоторая особая умственная установка, свойственная в наше время немалому количеству людей, так как ее старательно внедряли в сознание многих народов целых четыре десятилетия. Это – такой ход мысли, который приводит мыслящего к выводу, перерастающему с течением времени в аксиому, в догмат: будто бы религия отнимает у человека его свободу, требует слепой покорности высшим силам, ставит его в полную от них зависимость. А так как они – только призраки, то в действительности укрепляется зависимость от всех весьма реальных человеческих инстанций, которые стремятся эксплуатировать невежество масс. В этом и заключается «религиозное рабство», из коего человечество высвобождается наукой и материалистической философией.

Оспаривать это рассуждение значит писать трактат, ставящий целью опровержение основ материалистической философии. Такие трактаты уже написаны, и если они до сих пор в России недостаточно известны, то причина тому в обстоятельствах, имеющих отношение не столько к философии, сколько к политике.

Что же касается утверждения, будто бы всякая религия требует покорности высшим силам, то нет сомнения, что некоторые религиозные доктрины действительно проповедовали предопределение и фактическое отсутствие свободы воли у человека: это – факт, и я меньше всего склонен брать под защиту любые религиозные формы без разбора. Однако распространять этот признак на всю религию в целом правомерно не в большей степени, чем утверждать, например, что мировая художественная литература реакционна по своему существу, а для обоснования этого ссылаться на отдельных реакционных писателей и отдельные реакционные школы.

Уяснить неправомерность такого обвинения по отношению к концепции Розы Мира я хотел бы немедленно.

Прежде всего позволю себе высказать недоумение: никакая наука и никакая философия⁹, в том числе и материалистическая, не оспаривает факта зависимости человеческой воли от множества материальных причин.

Как раз именно материалистическая философия даже особенно настаивает на сугубой зависимости воли от факторов экономического ряда. И тем не менее никто не возмущается этим принижением человека перед природной и исторической необходимостью. Никто не вопиет о рабстве человека закону тяготения, закону сохранения материи, закону эволюции, законам экономического развития и т. д. Все понимают, что в рамках этих законов остается все же достаточный простор для проявления нашей воли.

Между тем настоящая концепция не прибавляет ни одного фактора нового, дополнительного, к перечисленной сумме факторов определяющих нашу волю. Дело не в их числе, а в их истолковании. То необъятное и бесконечно многообразное, что объединяется выражением «высшие силы», воздействует на нашу волю не столько путем сверхъестественных вторжений, сколько при помощи тех самых рядов, тех законов природы, эволюции и т. п., которые мы только что условились считать объективными фактами. Эти ряды фактов в огромной степени определяют наше сознание, и не только сознание, но и подсознание, и сверхсознание. Отсюда и возникают те голоса совести, долга, инстинкта и пр., которые мы слышим в себе и которые видимым образом определяют наше поведение. Таков механизм связи между «высшими силами» и нашей волей. Правда, иногда имеют место явления, которые субъективно могут казаться нарушениями законов природы «высшими силами». Это называют чудом. Но там, где такие явления действительно совершаются, а не оказываются аберрациями, там происходит вовсе не нарушение естественных законов «произволом» высших сил, а проявление этих сил через ряд других законов, нам еще неясных.

То, что зачастую кажется нам монолитным, простым, нерасчленимым двигателем наших поступков, например совесть, в действительности представляет собой весьма сложный результат разных рядов. В основном совесть есть голос нашей монады. Но его доступ в сферу нашего сознания обуславливается воздействием других рядов: внешние обстоятельства, например какой-нибудь случай, послуживший толчком к тому, чтобы этот голос монады был нами услышан, – это есть проявление Промысла, действие сил Провиденциальной природы.

Таким образом, выбор человека предопределяется тремя рядами сил. Силами Провиденциальными, пользующимися в своих целях законами природы и истории, как орудиями, и постепенно их просветляющими; силами демоническими, пользующимися теми же самыми законами и все более их отягчающими; и волей нашей собственной монады, подаваемой в круг нашего сознания голосами сердца и разума с помощью Провиденциальных сил.

Поэтому, будем ли мы рассматривать законы природы и истории как механические, бездушные необходимости или как орудие тех или иных живых, личных, иноматериальных либо духовных сущностей, – от этого степень нашей свободы не убудет и не увеличится.

Следовательно, степень свободы человеческого выбора с точки зрения концепции Розы Мира не меньше, чем с точки зрения материализма, но ряды определяющих ее факторов иначе осмыслены и четче расчленены.

И если материалиста не оскорбляет ограниченность нашей свободы совершенно безличными и бездушными законами природы, то чем же может унижать нас ограниченность нашей свободы волей Провиденциальных сил? Нас может оскорблять только ограниченность нашей свободы волей сил демонических; да, она оскорбляет; но ведь это – те самые силы, те наши исконные враги, в обуздании, обращении и просветлении которых – вся наша цель. И это

оскорбление мы перестанем переживать только тогда, когда сделаем себя недоступными их воздействию. Эволюция мировой жизни ведет ряды существ от минимальной степени свободы в простейших формах (в зачаточное сознание микроба голос монады не достигает почти совершенно, и поведение его определяется, главным образом, демоническими силами, действующими через законы природы, как через свой передаточный механизм). Высшие животные уже гораздо свободнее, чем микроб, амплитуда их произвольных действий много шире; у человека она возрастает несравненно.

Противники религии как таковой указывают на то, что она требует отказа от личной воли, требует покорности нашей воли Божеству. И по отношению к некоторым религиям прошлого они правы. Но Роза Мира не есть религиозное учение прошлого. Она есть религиозное и социально-этическое учение будущего. Никакой «покорности» воле Божией Роза Мира не требует, ибо ценно только то, что совершается человеком добровольно, а не по принуждению.

Не требование рабской покорности воле Божества будет звучать из святилищ религии итога. Оттуда будет излучаться призыв ко всеобщей любви и к свободному богосотворчеству.

Господь – это неизменное и невыразимое первоверховное стремление, это – духотворящая власть, действующая во всех душах, не умолкающая даже в глубине демонических монад и направляющая миры и миры, от микробрамфатур до сверхгалактик, к чему-то более совершенному, чем добро, и более высокому, чем блаженство. Чем выше ступень каждого Я, тем полнее совпадает его воля с творческой волей Господней. И когда оно, начав свой космический путь с простейших форм живой материи, минует ступени человека, демиурга народов, демиурга планет и звезд, демиурга галактики, оно через Бога-Сына – погрузится в Отца и воля его полностью совпадет с Отчею волею, сила – с Отчею силой, образ – с Отчим образом и творчество – с Отчим творчеством.

Богосотворчество есть светлое творчество всех монад восходящего потока Вселенной, от человека, стихий и просветленных животных до демиургов галактик, исполинов невообразимого величия.

Вот почему так часто встречается здесь слово «демиург», в старинных религиях почти не употреблявшееся. Демиурги – все, кто творит во славу Божию, из любви к миру и его Первотворцу.

Он абсолютно благ.

«Он всемогущ», – добавляло старое богословие.

Но если Он всемогущ – Он ответственен за зло и страдание мира, следовательно. Он не благ.

Казалось бы, выйти из круга этого противоречия невозможно.

Но Господь творит из Себя. Всем истекающим из Его глубины монадам неотъемлемо присущи свойства этой глубины, в том числе абсолютная свобода. Таким образом, божественное творчество само ограничивает Творца, оно определяет Его могущество той чертой, за которой лежат свободы и могущества Его творений. Но свобода потому и свобода, что она включает возможность различных выборов. И в бытии многих монад она определилась их отрицательным выбором, их утверждением только себя их богоотступничеством. Отсюда то, что мы называем злом мира, отсюда страдание, отсюда жестокосердные законы и отсюда же то, что эти зло и страдание могут быть преодолены. Законы оберегают мир от превращения в хаос. Сами демоны вынуждены считаться с ними, дабы миры не распались в пыль. Поэтому они не опрокидывают законов, но утяжеляют их. Законы слепы. И просветлены они могут быть не во мгновение ока, не чудом, не внешним вмешательством Божества, но длительнейшим космическим путем изживания богоотступническими монадами их злой воли.

У Бога всеобъемлющая любовь и неиссякающее творчество слиты в одно. Все живое, и

человек в том числе, приближается к Богу через три божественных свойства, врожденных ему: свободу, любовь и богосотворчество. Богосотворчество – цель, любовь – путь, свобода – условие.

Демонические монады свободны, как и все, но их любовь глубоко ущербна. У них она направлена исключительно внутрь: демон любит только себя. И оттого, что весь могучий запас любви, в духе его пребывающий, сосредоточен на этом одном, демон любит себя с такою великой силой, с какою любить себя не способен ни один человек.

Не может быть утрачена демоническими монадами и способность к творчеству. Но богосотворчество не вызывает у них ничего, кроме предельной враждебности. Каждый демон творит только ради себя и во имя свое.

Творчество человека превращается в Богосотворчество с той минуты и в той мере, в какой его непреодолимый творческий импульс направляется усилием его воли и веры не на достижение тех или иных эгоистических целей – славы, удовольствия, материального успеха, служения жестоким и низменным учениям, – но на служение Богу любви.

Именно три слова – свобода, любовь и Богосотворчество – определяют отношение Розы Мира к искусству, науке, воспитанию, браку, семье, природе и даже к таким, всеми религиями пренебрегавшимся элементам жизни, как ее благоустройство и благолепие.

4. Бытие и сознание

То, что я говорил до сих пор, подводит нас к новому углу зрения на многовековой спор о примате сознания или бытия.

«Сознание определяет бытие», – формулировали идеалистические школы. На следующем, безрелигиозном этапе культуры эта формула была вывернута наизнанку, но материал ее сохранился в неприкосновенности. А материал состоял в противопоставлении двух членов и поэтому новая формула унаследовала примитивизм своей предшественницы.

Вопрос сложнее, чем эти формулы. И, вместе с тем, он проще, чем громоздкие сооружения посылок и выводов, напластовавшиеся в XVIII и XIX веках для того, чтобы извлечь столь скромный результат.

«Бытие определяет сознание»... «Сознание определяет бытие»... Чье бытие? чье сознание? Отдельной конкретной личности? человечества? мира? живой сознающей материи? Как все спутано, как нечетко.

Сознание отдельной конкретной личности (для простоты будем говорить только о человеке) определяется не чьим-либо сознанием и не вообще бытием, но суммой факторов. А именно:

- а) ее собственным физическим бытием;
- б) бытием природной и культурной ее среды;
- в) сознаниями множества людей, живущих и живших, ибо эти сознания в значительной мере определили своими усилиями культурную среду, в которой личность живет и которая воздействует на ее бытие и сознание;
- г) сознанием n -ного числа других существ, влиявших на природную среду и ее трансформировавших;
- д) бытием и сознанием миротворящих иерархий;
- е) сверхсознательным, но индивидуальным содержанием, кое врожденно монаде данной личности;
- ж) бытием-сознанием Единого, в Котором бытие и сознание суть одно, а не различные, противостоящие друг другу, категории.

Если вопрос ставится не об отдельной личности с ее бытием и сознанием, но о Вселенной,

точнее – о появлении сознания в органической природе каких-либо миров, то ясно, что поскольку Вселенная определяется Единым, постольку это противопоставление бытия и сознания снимается по только что указанной причине. Поскольку же Вселенная определяется творчеством богосотворенных монад, постольку вопрос о каком-то моменте появления в ней сознания после периода существования бессознательности лишается смысла. Ибо если бы не было богосотворенных монад с их сознанием и бытием, не могла бы возникнуть и никакая материя, ни органическая, ни неорганическая.

Над примитивностью классических формул теперь можно было бы только добродушно пошутить, если бы одна из них, став философским догматом политической деспотии, не оказалась повинна в бесчисленных несчастиях, забив, как пробка, дыхательные пути мысли множества людей и преградив доступ духовности в сферу их сознаний. Другая из классических формул, столь же ошибочная, все-таки менее опасна именно потому, что она духовнее. Но со старых религий с их философемами это отнюдь не снимает вины: столько веков потратить на схоластические мудрствования – и ни на шаг не приблизиться к вопросу о примате бытия или сознания.

5. Разноматериальная структура человека

Среди многочисленных слоев Шаданакара есть многомерный мир, где пребывают человеческие монады – неделимые и бессмертные духовные единицы, высшие Я людей. Творимые Богом и только Богом, а некоторые (немногие) таинственно рождаемые Им, они входят в Шаданакар, облекаясь наитончайшей материей, – ее правильнее было бы назвать энергией: это – субстанция, пронизывающая весь Шаданакар; каждый индивидуальный дух, вступая в нашу брамфатуру, неизбежно ею облекается. Мир, в котором пребывают наши монады, носит имя Ирольн.

Творческий труд, ведущий к просветлению Вселенной, – задача каждой монады, кроме демонических; среди же людей демонических монад нет. Человеческие монады осуществляют этот труд в низших мирах, подлежащих их просветляющему творчеству, создавая там для себя материальные облачения и через эти облачения воздействуя на среду соответствующих слоев.

Прежде всего монада создает шельт из материальности пятимерных пространств, затем – астральное тело из материальности четырехмерных. Оба эти облачения часто объединяются в нашем представлении под словом «душа». Шельт – материальноеместилище монады со всеми ее божественными свойствами и ее ближайшее орудие. Не сама монада, остающаяся в пятимерном Ирольне, но именно шельт является тем «я», которое начинает свое странствие по низшим слоям. Шельт творится самою монадою; в творении же астрального тела принимает участие великая стихиаль – Мать-Земля. Она принимает участие в творении астральных тел всех существ Шаданакара – людей, ангелов, даймонов, животных, стихиалей, демонов и даже великих иерархий, когда последние спускаются в те слои, где астральное тело необходимо. Это тело – высший инструмент шельта. В нем сосредоточены способности духовного зрения, слуха, обоняния, глубинной памяти, способности полета, способности общения с синклитами, даймонами, стихиальями, ангелами, способности ощущения космических панорам и перспектив.

Далее, Мать-Земля, оплодотворяемая духом Солнца, создает для воплощающейся монады тело эфирное: без него невозможна никакая жизнь в мирах трех и четырех измерений. И когда шельт со всеми своими облачениями, включая эфирное, покидает в Энрофе самый внешний, кратковременный, последний из своих сосудов – тело физическое, в Энрофе остается только труп. Физическое же тело создается для нас ангельскими иерархиями – они творят самую материю – и великой стихиалью человечества – Лилит – той, которая ваяет из этой трехмерной

материальности цепь рода. Воздействие самой монады в этом акте через шельт заключается в том, что она данному звену рода дает индивидуальность.

Так завершается процесс спуска; начинается процесс восхождения.

Физическое тело может приниматься монадой один или, снова и снова, много раз. Эфирное же создается наново только в том случае, если носитель, подпав закону возмездия, принужден был совершить путь по кругам великих страданий. А в восходящем пути эфирное тело сопутствует носителю по всем мирам Просветления вплоть до затамисов – обителей просветленного человечества, небесных градов метакультур. Состоит оно из жизненной субстанции, не универсальной, но различной по всем трехмерным и четырехмерным мирам. Памятуя о древнейшем откровении человечества, ее справедливо было бы назвать арунгвильтой-праной.

Астральное тело сопутствует носителю выше, включая сакуалу Высокого Долженствования, а еще выше остается только шельт, просветленный до конца и слившийся с монадой в единство. Тогда монада покидает Ирольн и, облеченная предельно истонченным шельтом, вступает на лестницу наивысших миров Шаданакара.

В последующих частях книги будет идти речь обо всех этих слоях, многие из них будут, насколько это возможно, описаны. Но подробнее осветить вопросы о взаимодействии различных облачений монады, о функциях каждого из них и об их строении я, к сожалению, не в состоянии.

6. Метакультуры

Структура Шаданакара, к колоссальной проблематике которой скоро пора уже будет перейти, останется непонятной в самых своих основах, если предварительно не усвоить, что такое сверхнарод, метакультура и трансмиф.

Под термином «сверхнарод» понимается совокупность наций, объединенных общей, совместно создаваемой культурой, либо отдельная нация, если ее культура создавалась ею одной и достигла высокой степени яркости и индивидуальности.

При этом подразумевается, что вполне изолированных культур не существует, они взаимосвязаны, но в целом каждая культура вполне своеобразна, и, несмотря на влияние, оказываемое ею на других, она во всей своей полноте остается достоянием только одного сверхнарода, своего творца.

Понятие сверхнарода можно было бы не вводить в настоящую концепцию, если бы оно не обладало, наряду с историческим, также и метаисторическим значением. А метаисторическое значение его в том, что своеобразие сверхнарода не ограничивается культурной сферой в Энрофе, но сказывается также во многих нематериальных слоях как восходящего, так и нисходящего ряда, поскольку некоторые участки этих слоев охватываются воздействием лишь одного данного сверхнарода. Ведь нельзя забывать, что под сверхнародом понимается совокупность не тех только личностей, которые принадлежат к нему сейчас, не только наших современников, но и весьма многих из тех, которые принадлежали к нему раньше, хотя бы и на заре его истории, а позднее, в своей посмертии, действовали и действуют в трансфизических слоях, с этим сверхнародом связанных. Над человечеством поднимается лестница слоев, общих для всех сверхнародов, но над каждым из них эти слои меняют свою окраску, свою физиономию, свое содержание; есть даже такие слои, которые наличествуют только над одним сверхнародом. Точно так же обстоит дело и по отношению к демоническим мирам нисходящего ряда, существующим как бы под сверхнародом. Таким образом, значительная часть Шаданакара состоит из отдельных многослойных сегментов; слой Энрофа в каждом из таких сегментов занят

только одним сверхнародом и его культурой. Эти многослойные сегменты Шаданакара носят название метакультур, Каждый сверхнарод обладает своим мифом. Этот миф создается отнюдь не в одном лишь детском периоде его истории, – напротив. И, так как традиционное употребление слова «миф» не совпадает с тем значением, которое вкладывается в него здесь, приходится тщательно разъяснить, какое понятие мною в это слово вложено. Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, воплощающих какое-либо многообъемлющее интернациональное учение и нашедших свое выражение в преданиях и культе, в теософемах и философемах, в памятниках словесности и в изобразительном искусстве и, наконец, в кодексе нравственности, – мы говорим о мифах великих международных религий. Таких мифов существует четыре: индуистский, буддийский, христианский и магометанский.

Когда мы говорим о строго координированной системе идейно насыщенных образов, определяющих отношение к Энрофу, к трансфизическим и духовным метрам со стороны одного какого-нибудь сверхнарода, о системе, отлившейся в определенную религию и игравшую в истории данного сверхнарода весьма значительную роль, но почти не распространившуюся за его пределы, – мы говорим о национальных религиозных мифах отдельных сверхнародов. Таковы мифы египетский, древнеиранский, еврейский, древнегерманский, галльский, ацтекский, инкский, японский и некоторые другие.

Когда мы имеем в виду мир образов, столь же идейно насыщенных и тоже, быть может, связанных, хотя и не так тесно, с идеями религиозного и нравственного порядка, но не сложившихся в стройную систему и отражающих ряд общих нравственных, трансфизических, метаисторических или вселенских истин в связи именно с данностью и долженствованием вот этой культуры, – мы имеем перед собой общие мифы сверхнародов. Таковы мифы юго-западного – романо-католического сверхнарода, сверхнарода северо-западного – германо-протестантского, сверхнарода российского¹⁰.

И, наконец, последняя, четвертая группа – общие мифы национальные, это – мифы отдельных народностей, входящих в состав сверхнарода, но внутри себя создающих, в дополнение к общему сверхнародному мифу, свой частный, очень локальный, ни в какую строгую систему, ни в какую религию не отлившийся вариант. В качестве примеров можно было бы привести языческие мифы славянских племен, финских племен, тюркских племен, а также мифы некоторых обособленных и отстающих племен Индии. В сущности, в зачаточном состоянии мифы народностей обнаруживаются у весьма многих этнических образований, но ярко выраженную физиономию приобретают они редко.

Ни к каким другим явлениям в истории культуры мы применять слово миф не будем.

Таким образом, три последние группы мифов относятся к специфике отдельных культур. Первая же группа – мифы международных религий – мистически связана (за исключением одного) с такими слоями Шаданакара, которые лежат уже выше его сегментарных членений, называемых метакультурами.

Мне кажется, что понятие мифов национально-религиозных воспринимается без труда. Общим же мифам сверхнародов следует дать, для ясности, пару дополнительных определений.

Определение индуктивное.

Общий миф сверхнарода есть сумма его представлений о трансфизическом космосе, об участии в нем данной культуры и каждого входящего в эту культуру Я ¹¹ – представлений, которые этой культурой вырабатываются, отливаясь в формы цикла религиозно-философских идей, цикла художественных образов, цикла социально-этических понятий, цикла государственно-политических установлений и, наконец, цикла общенародных жизненных норм, осуществляющихся в обряде, в повседневном укладе быта, в обычае.

Определение дедуктивное.

Общий миф сверхнарода есть осознание сверхнародом в лице его наиболее творческих представителей некоей второй реальности, над ним надстоящей, в которую он сам входит частью своего существа и в которой таятся руководство его становлением и корни его судьбы, – осознание, замутненное посторонними, из неупорядоченной человеческой природы возникающими примесями.

Эту вторую реальность, служащую объектом трансфизического и метаисторического, художественного и философского постижения, можно условно обозначить термином трансмиф.

Само собой разумеется, что степень отличия мифа от трансмифа может быть весьма разной. Ограниченность тех, кто воспринимал трансмиф через интуицию, сновидения, художественные наития, религиозное созерцание, метаисторическое озарение; национальные, эпохальные, классовые и личные особенности этих сознаний и той подсознательной области их существа, которая деятельно участвует в этом процессе; невозможность найти в слове или в образах трехмерного искусства точные аналогии для выражения реальности иномерных миров – разве может все это не привести к бесчисленным абберациям, к загромождению мифа массой случайного, неточного, антропоморфного, примитивизирующего, даже просто неудачного? Но миф динамичен, он движется во времени, развивается, меняет лики, и поздние его фазы, как правило, ближе к трансмифу, потому что за истекшие века сами воспринимающие сознания стали тоньше, богаче, зорче, шире.

Но тем временем развивается и сам трансмиф. Запредельная реальность полна кипучего движения, о се статике не может быть и речи. Как отличаются города-крепости времен Меровингов от современного Парижа, так же отличаются ландшафты, сооружения и все содержание трансмифов в пору их возникновения и к концу их метаисторического развития.

Но на всех стадиях развития сверхнародного трансмифа присутствуют, наряду с постигающим его народом Энрофа, две другие реальности, два других слоя, два полюса метакультурной сферы. Вокруг них и между ними находятся и другие слои, но каждый из них возник потом или же претерпел коренные изменения; некоторые исчезли. Незыблемы и долговечны только три области: в Энрофе – сверхнарод, в иномерном пространстве над ним – обиталище его просветленных душ, священные грады, небесная страна метакультуры, а внизу, в мирах нисходящего ряда – антиполюс этой небесной страны: цитадель, сооружаемая в мирах, связанных с глубинными пластами в физическом теле планеты. Это – средоточие демонических сил данной метакультуры. Небесные страны и все, что в них, называются затомисами подземные цитадели – шрастрами.

Обычно из этих двух полюсов ярче и четче бывают отражены в мифах именно затомисы. Образы шрастров далеко не всегда отливаются в сколько-нибудь законченную форму. Затомисы же, обиталища синклитов метакультур, можно встретить в мифах решительно всех сверхнародов, и притом в мифах и религиозных, и общих. Такова Эанна вавилонян: зиккурат в городе Эрехе был, по воззрениям сумеро-аккадийцев, подобием этой горы богов, Эанны Небесной, а позднее аналогичный смысл усматривался вавилонянами в главном культовом сооружении их великого города – в семиступенчатом храме Эсагиле. Таков Олимп греко-римлян. Такова Сумэра (Меру) индийцев – индусский Олимп, на склонах которого блещут небесные города богов индуизма. Таковы образы Рая – Эдема в метакультурах Византийской и Романо-католической, Джаннэт – в Арабо-мусульманской, Шан-Ти – в Китайской, Монсальват – в Северозападной, Китеж – в Российской метакультуре.

Сквозь клубящиеся тучи искусств, верований, мифологий и народоустройств стараясь разглядеть небесную страну Северо-западной метакультуры, ни на миг не следует забывать, что сверхнароды, пока они существуют в Энрофе, не завершают творение своих мифов никогда. Меняются формы выражения: в качестве выразителей на историческую арену выступают новые

человеческие группы; от анонимных творцов фольклора и обряда задача мифотворчества переходит к мыслителям и художникам, к чьим именам поднимаются волны всенародной любви: но миф живет. Живет, углубляясь, наполняясь новым содержанием, раскрывая в старых символах новые смыслы и вводя символы новые – сообразно более высокой стадии общего культурного развития воспринимающих – во-первых, и сообразно с живым метаисторическим развитием самого трансмифа – во-вторых.

Небесная страна Северо-западной культуры предстает нам в образе Монсальвата, вечно осиянной горной вершины, где рыцари-праведники из столетия в столетие хранят в чаше кровь Воплощенного Логоса, собранную Иосифом Аримафейским у распятия и переданную страннику Титурэлю, основателю Монсальвата. На расстоянии же от Монсальвата высится призрачный замок, созданный чародеем Клингзором: средоточие богоотступнических сил, с непреодолимым упорством стремящихся сокрушить мощь братства – хранителей высочайшей святости и тайны. Таковы два полюса общего мифа северо-западного сверхнарода от безымянных творцов древнекельтских легенд, через Вольфрама фон Эшенбаха до Рихарда Вагнера. Предположение, будто раскрытие этого образа завершено вагнеровским «Парсифалем», – отнюдь не бесспорно, а пожалуй, и преждевременно. Трансмиф Монсальвата растет, он становится все грандиознее. Будем же надеяться, что из толщи северозападных народов еще поднимутся мыслители и поэты, кому метаисторическое озарение позволит постигнуть и отобразить небесную страну Монсальват такой, какова она ныне.

Нетрудно понять, что большинство даже самых огромных человекообразов Северо-западного мифа не связано и не может быть связано с образом Монсальвата непосредственно. Ожидать непереносимой непосредственной связи значило бы обнаружить узкий и формальный подход и даже полное непонимание того, что такое общий сверхнародный, а не религиозно-национальный миф.

В конце концов, любой человеческий образ, созданный великим писателем, художником, композитором, доящий свою жизнь в сознании и подсознании миллионов и становящийся внутренним достоянием каждого, кто этот образ воспримет творчески, – любой такой образ есть образ мифический. Кримгильда и Офелия, Макбет и Брандт, Эсфирь Рембрандта и Маргарита Гете, Эгмонт и м-р Пикквик, Жан Кристоф и Джолион Форсайт мифичны совершенно в такой же мере, как Лоэнгрин и Парсифаль. Но в чем же заключается связь художественных образов, а также философских и социальных идей Северо-западной культуры с полюсами Северо-западного мифа – с Монсальватом и замком Клингзора?

Полюса всякого сверхнародного мифа опоясаны множеством кругов, целыми мирами образов, связь которых со средоточием не в сюжетной от них зависимости, а во внутреннем родстве, в возможности для нас мыслить эти образы и постигать их метаисторическим созерцанием в средоточии мифа или рядом с ним.

Фауст, конечно, не Мерлин: байроновский Каин – не Клингзор: Пер Гюнт – не Амфортас, а гауптмановского Эммануэля Квинта, на первый взгляд, просто странно сопоставлять с Парсифалем. Образ Кундри, столь значительный в средоточии мифа, не получил, пожалуй, никакой равноценной параллели на его окраинах. С другой стороны, никаких прообразов Гамлета и Лира, Маргариты или Сольвейг мы в средоточии Северо-западного мифа не найдем. Но их взор туда обращен; на их одеждах можно заметить красноватый отсвет – то ли Грааля, то ли колдовских клингзорских огней. Эти колоссальные фигуры, возвышаясь на различных ступенях художественного реализма, на различных стадиях мистического просветления, похожи на изваяния, стерегущие подъем по уступам лестницы в то святилище, где пребывает высочайшая тайна северозападных народов – святость, посылающая в страны, охваченные сгущающимся сумраком, духовные волны Промысла и благоволения.

Разве блики от излучения этой святыни – или от излучения другого полюса того же мифа, дьявольского замка Клингзора – мы различаем только на легендах о рыцарях Круглого стола? или только на мистериях Байрэйта? – Если Монсальват перестает быть для нас простым поэтическим образом в ряду других, только чарующей сказкой или музыкальной мелодией, а приобрел свое истинное значение – значение высшей реальности, – мы различим его отблеск на готических аббатствах и на ансамблях барокко, на полотнах Рюисдаля и Дюрера, в пейзажах Рейна и Дуная, Богемии и Бретани, в витражах-розах за престолом церквей и в сурово-скудном культе лютеранства. Этот отблеск станет ясен для нас и в обезбоженных, обездушенных дворцовых парках Короля-Солнца, и в контурах городов, встающих из-за океана, как целые Памиры небоскребов. Мы увидим его в лирике романтиков и в творениях великих драматургов, в масонстве и якобинстве, в системах Фихте и Гегеля, даже в доктринах Сен-Симона и Фурье. Потребовалась бы специальная работа, чтобы указать на то, что могущество современной науки, чудеса техники, равно как идеи социализма, даже коммунизма, с одной стороны, а нацизма – с другой, охватываются сферой мифа о Монсальвате и замке Клингзора. Ничто, никакие научные открытия наших дней, кончая овладением атомной энергией, не выводят северо-западного человечества из пределов, очерченных пророческой символикой этого мифа. Думается, что тому, кто прочитает настоящую книгу, уяснятся эти, не вскрытые еще, взаимосвязи.

Я заговорил об одной из метакультур с ее мифом и трансмифом лишь для того, чтобы помочь конкретными образами понять идею о небесных странах человечества, пребывающих в просветленных слоях на вершинах метакультур, и задуматься над их антиподами – крепостями богоотступнических начал, деятельно творящих свой антикосмос и борющихся с силами Света во всех сверхнародах Энрофа, во всех слоях, во всех метакультурных зонах.

Но лестница слоев Шаданакара не заканчивается там, где завершаются сегменты метакультур: дальше поднимаются пятимерные и шестимерные миры, тоже получившие свое смутное отображение в мифах и религиях человечества. В этом смысле ко многим из этих слоев тоже применимо наименование «трансмифы». Но в более узком и более высоком смысле слово «трансмиф» применяется к особой сакуале: это система миров с пятью измерениями пространства и с огромным числом временных координат; это пять грандиозных, как бы светящихся изнутри солнечным сиянием, прекрасных и прозрачных пирамид, незыблемо высящихся над Энрофом. Не только Энроф, но и небесные страны метакультур кажутся оттуда глубоко внизу, в сумраке. Эти миры – высшие аспекты трех (не четырех!) великих международных религий и двух религий, почти не разбивших своей национальной замкнутости вследствие ряда исторических причин, но носивших на себе отблеск как своих затомисов, так и этой, несравненно более высокой сакуалы. Об этой сакуале подробно будет сказано в одной из следующих частей.

Хочу предварительно сделать замечание еще вот по какому поводу. Думаю, что у многих, читающих эту книгу, возникает недоумение: почему все новые слова и имена, которыми обозначаются страны трансфизического мира и слои Шаданакара, даже названия почти всех иерархий, – нерусские? А это потому, что русская метакультура – одна из самых молодых: когда стал возникать ее Синклит, все уже было названо другими. Чаще всего можно встретить в этих словах звучание, напоминающее санскрит, латынь, греческий, еврейский и арабский языки, а иногда – языки еще более древние, которые не знает пока ни один филолог. Само собой разумеется, не знаю их и я; только по этим отдельным словам я сужу об их странной фонетической физиономии.

Теперь, мне кажется, сказано все, без чего дальнейшие части книги могли бы остаться не вполне понятными. Перед нами – четыре части, почти целиком посвященные описанию структуры Шаданакара, – своего рода трансфизическая география. Только составив

представление об арене и об участниках метаисторической мистерии, хотя бы самое приблизительное, можно будет перейти к тем частям, которые посвящены самим метаисторическим процессам, в особенности – метаистории России и ее культуры, а также метаистории современности. Это связано с задачами, с конкретной программой Розы Мира, с изложением тех исторических путей, на которых возможно бескровное объединение человечества в единый организм, всеобщее изобилие, воспитание поколений облагороженного образа, преобразование планеты в сад, а всемирного государства – в братство. Отсюда перекинется мост к последним главам: к некоторым далеким историческим прогнозам, к проблеме завершающих катаклизмов всемирной истории и к неизбежному, хотя и катастрофическому, переходу Энрофа в другую высшую материальность, в другой слой бытия. Космическим перспективам, раскрывающимся при этом, посвящены последние страницы.

**КНИГА III. СТРУКТУРА ШАДАНАКАРА. МИРЫ
ВОСХОДЯЩЕГО РЯДА**

ГЛАВА 1. САКУАЛА ПРОСВЕТЛЕНИЯ

Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для жизни в России. Конечно, это знание не имеет общего значения и может интересовать только тех, кто способен отнестись с доверием к моим свидетельствам и кто чувствует при том кармическую связь с моей судьбой. Но мое знание некоторых этапов пути между предпоследним моим существованием и текущим, по своему объективному интересу, шире, я могу и должен рассказать о самом существенном из того, что мне удалось постепенно припомнить. Впрочем, лучше сказать не «мне удалось», а «мне помогли припомнить».

Я встречал иногда людей, обладавших вот такой приоткрытостью глубинной памяти, но ни один из них не решался говорить об этом почти ни с кем; о попытках же запечатлеть эти воспоминания в письменной форме ни у кого не возникало даже смутного помысла. Виной тому была уверенность, что подобные признания могут вызвать только насмешку, и естественная душевная стыдливость, восстающая против вынесения на суд чужих и чуждых людей того, что интимно, неприкосновенно и в то же время недоказуемо. Очень долгое время так смотрел на дело и я, да и теперь предпринимаю подобную попытку без малейшей отрады. Но так как решительно все, о чем я рассказываю в этой книге, имеет столь же бездоказательный источник, то я не вижу больше оснований молчать именно о прорывах глубинной памяти; надо было или не начинать книги совсем или, раз уже начав, говорить обо всем, вопреки боязни. К тому же меня укрепляет надежда на то, что читатели, не доверяющие мне, отсеялись уже после первых глав и следить дальше за моим изложением будут лишь люди, преднастроенные благожелательно.

Последняя смерть моя произошла около трехсот лет назад в стране, возглавляющей другую, очень древнюю и мощную метакультуру. Всю теперешнюю жизнь, с самого детства, меня томит тоска по этой старой родине; быть может, так жгуча и глубока она потому, что я прожил в той стране не одну жизнь, а две, и притом очень насыщенные. Но, уходя из Энрофа триста лет назад, я впервые за весь мой путь по Шаданакару оказался свободным от необходимости искупляющих посмертных спусков в глубину тех слоев, где страдалцы развязывают – иногда целыми веками, даже тысячелетиями, – кармические узлы, завязанные ими при жизни. Впервые я успел и смог развязать узлы еще в Энрофе, долгими мучениями и горькими утратами оплатив совершенные в молодости срывы и ошибки. И в первый раз я умирал с легкой душой, хотя по религиозным воззрениям той страны должен был бы ожидать воистину страшного посмертия. Но я уже знал, что исключением из касты и сорокалетней жизнью среди париев я искупил все. Смерть была легка и полна надежды.

То была вещая надежда: такая не обманывает. О первых часах, даже о нескольких днях моего нового бытия, мне до сих пор ничего не удалось вспомнить. Но зато я помню несколько местностей того нового слоя, в котором долгое время существовал вслед за тем.

Единый для всех метакультур, этот слой, однако, очень пестр: в древней, тропической, огромной метакультуре, дважды обнимавшей мою земную жизнь, он был похож на ее природу в Энрофе, но мягче – без крайностей ее жестокости и великолепия, без неистовых тропических ливней и губительной сухости пустынь. Я помню, как белые башнеобразные облака необыкновенно мощных и торжественных форм стояли почти неподвижно над горизонтом, вздымаясь до середины неба: сменялись ночи и дни, а гигантские лучезарные башни все стояли над землей, едва меняя очертания. Но самое небо было не синим и не голубым, но глубоко-зеленым. И солнце там было прекраснее, чем у нас: оно играло разными цветами, медлительно и

плавно их сменяя, и теперь я не могу объяснить, почему эта окраска источника света не определяла окраски того, что им освещалось: ландшафт оставался почти одинаков, и преобладали в нем цвета зеленый, белый и золотой.

Там были реки и озера; был океан, хотя увидеть его мне не довелось: раз или два я был только на побережье моря. Были горы, леса и открытые пространства, напоминавшие степь. Но растительность этих зон была почти прозрачна и так легка, какими бывают леса в северных странах Энрофа поздней весной, когда они только начинают одеваться лиственным покровом. Такими же облегченными, полупрозрачными казались там хребты гор и даже сама почва: как будто все это было эфирною плотью тех стихий, чью физическую плотность мы так хорошо знаем в Энрофе.

Но ни птиц, ни рыб, ни животных не знал этот слой: люди оставались единственными его обитателями. Я говорю – люди, разумея под этим не таких, какими мы пребываем в Энрофе, но таких, какими делает нас посмертье в первом из миров Просветления. Наконец-то я мог убедиться, что утешение, которое мы черпаем из старых религий в мысли о встречах с близкими, – не легенда и не обман, – если только содеянное при жизни не увлекло нас в горестные слои искупления. Некоторые из близких встретили меня, и радость общения с ними сделалась содержанием целых периодов моей жизни в том слое. Он очень древен, когда-то в нем обитало ангельское прачеловечество, а зовется он Олирной: это музыкальное слово кажется мне удачной находкой тех, кто дал ему имя. Общение с близкими не содержало никакой мути, горечи, мелких забот или непонимания, омрачающих его здесь: это было идеальное общение, отчасти при помощи речи, но больше в молчании, какое здесь бывает знакомо лишь при общении с немногими, с кем мы соединены особенно глубокой любовью, и в особенно глубокие минуты.

От забот о существовании, имевших в Энрофе стоять необъятное значение, мы были совершенно освобождены. Потребность в жилье сводилась на нет мягкостью климата. Кажется, в Олирнах некоторых других метакультур это не совсем так, но в точности я этого не помню. Пищу доставляла прекрасная растительность, напитками служили родники и ручьи, обладавшие, как мне припоминается, различным вкусом. Одежда, вернее, то прекрасное, живое, туманно-светящееся, что мы пытаемся в Энрофе заменить изделиями из шерсти, шелка или льна, – вырабатывалась самим нашим телом: тем нашим эфирным телом, которого мы почти никогда не сознаем на себе здесь, но которое в посмертье становится столь же очевидным и кажется столь же главным, как для нас – физическое. И в мирах Просветления, и в Энрофе без него невозможна никакая жизнь.

И все же первое время в Олирне для меня было отравлено тоской об оставшихся в Энрофе. Там остались дети и внуки, друзья и старушка-жена – то драгоценнейшее для меня существо, ради которого я нарушил закон касты и стал неприкасаемым. Прерыв связи с ними питал постоянную тревогу об их судьбе; скоро я научился видеть их смутные облики, блуждавшие по тернистым тропам Энрофа. А некоторое время спустя уже встречал свою жену такую же юную, какой она была когда-то, но более прекрасную: ее путь в Энрофе завершится несколькими годами позже моего, и теперь радость нашей встречи не была омрачена ничем.

Один за другим раскрывались новые органы восприятия: не те органы зрения и слуха, которые в эфирном теле полностью совпадают с соответствующими органами тела физического, – нет! те органы зрения и слуха действовали с первых минут моего пребывания в Олирне, и именно через них я Олирну воспринимал; но то, что мы называем духовным зрением, духовным слухом и глубинной памятью; то, к раскрытию чего стремятся в Энрофе величайшие мудрецы; то, что раскрывается там лишь у единиц среди многих миллионов; то, что в Олирне раскрывается постепенно у каждого. Духовное зрение и слух преодолевают преграды между

многими слоями; жизнь оставленных мною на земле я воспринимал именно ими – еще неотчетливо, но все же воспринимал.

Я наслаждался просветленной природой – такой зрительной красоты я не видал в Энрофе никогда, – но странно: в этой природе мне не хватало чего-то, и скоро я понял, чего: многообразия жизни. С печалью я вспоминал пение и щебет птиц, жужжание насекомых, мелькание рыб, прекрасные формы и бессознательную мудрость высших животных. Только здесь мне уяснилось, как много значит для нас, для нашего общения с природой животный мир. Однако те, кто знал больше меня, вселяли надежду, что древняя, смутная мечта человечества о существовании слоев, где животные предстают просветленными и высокоразумными, – не мечта, но предчувствие истины: такие слои, и со временем я буду вхож в них.

Позднее, совсем недавно, мне напомнили о некоторых зонах, которые имеются в Олирнах всех метакультур. Говорилось об областях, похожих на холмистые степи: там находятся некоторое время те, кто в Энрофе был слишком замкнут в личном, чьи кармические узлы развязаны, но душа слишком узка и тесна. Теперь, среди прозрачных, тихих холмов, под великолепным небом ничто не препятствует им восполнить этот ущерб, принимая в себя лучи и голоса космоса и раздвигая границы своего расширяющегося Я. Говорилось и о зонах Олирны, похожих на горные страны: там, в долинах, трудятся над собой те, кто смог уверовать – точнее – достоверно почувствовать потустороннее – уже только в посмертии. Они созерцают оттуда горные вершины, но не такими, какими видим их мы, а в духовной славе. Могущественные духи, господствующие там, льют в созерцающих струи своих сил. И способности души, парализованные неверием, раскрываются там, в дни и годы непосредственного лицезрения миогослойности вселенной и торжественного величия других миров. Но это я не помню сколько-нибудь отчетливо, быть может, потому, что я был там лишь гостем, а источник сведений об этом не внушает мне абсолютной уверенности, что сведения эти не упрощены ради их для меня понятности, следовательно, не искажены.

Кроме общения с людьми и наслаждения природой, время уходило на работу над своим телом: предстояло подготовить его к трансформе, ибо путь из Олирны в следующие, высшие миры лежит не через смерть, но через преобразование. И я понял, что стихи Евангелия, повествующие о вознесении Иисуса Христа, намекают на нечто схожее. Воскресение из мертвых изменило природу Его физического тела, и при вознесении из Олирны оно преобразилось вторично вместе с эфирным. Мне, как и всем остальным, предстояло преобразование лишь эфирного тела; преобразование, подобное тому, которое некогда видели апостолы своим зрением, проникавшим в Олирну, но еще не достигавшим миров, лежащих выше. Как иначе могли бы выразить евангелисты переход Спасителя из Олирны туда, как только назвав это событие Его вознесением на небо? И я, воспитанный в строгом брахманизме, начал понимать, какой странной для меня, бездонной правдой полон христианский миф.

И образ великого предателя, дотоле принимавшийся мною лишь как легенда, стал для меня реальностью: я узнал, что здесь, среди морей Олирны, в глубоком уединении, на пустынном острове находится теперь он. Свыше шестнадцати веков длился его путь сквозь страдания. Низвергнутый грузом кармы, неповторимой по своей тяжести, в глубочайшее из них, ни раньше, ни позже не выдавшее у себя ни одного человека, он был поднят оттуда Тем, Кого предал на земле, но лишь после того, как Преданный достиг в своем посмертии такой неимоверной духовной силы, которая для этого нужна и которой не достигал ранее никто в Шаданакаре. Поднимаемый силами Света вверх и вверх по ступеням чистилищ, искупивший свое предательство достиг, наконец, Олирны. Еще не общаясь с ее обитателями, он подготавливается на острове к дальнейшему восхождению. Этот остров я видел издали: он суров, внутри него – нагромождение странных скал, вершины которых все наклонены в одну сторону. Вершины –

острые, цвет скал – очень темный, местами черный. Но самого Иуду не видит в Олирне никто: видят по ночам только зарево его молитв над островом. В грядущем, когда в Энрофе наступит царство того, кого принято называть антихристом, Иуда, приняв из рук Преданного великую миссию, родится на земле вновь и, исполнив ее, примет мученическую кончину от руки князя Тьмы.

Но объяснить, какими именно усилиями была достигнута моя собственная трансформация и что, собственно, совершалось в ту минуту с моим телом, я бы не мог. Теперь я припомнить в силах только то, что стало тогда перед моими глазами: множество людей, может быть сотни, пришедшие проводить меня в высокий путь. Достижение трансформации кем-либо из живущих в Олирне всегда бывает радостью и для других; событие это окружается торжественным, светлым и счастливым настроением. Очевидно, событие происходило днем, на возвышении вроде холма и, как все в индийской Олирне, под открытым небом. Я помню, как ряды обращенных ко мне человеческих лиц стали мало-помалу делаться туманнее и как бы несколько удаляться в пространстве; вернее, по-видимому, я сам удалялся от них, приподнимаясь над землею. Вдали, на горизонте, я видел до сих пор полупрозрачный, будто сложенный из хризолита, горный кряж, вдруг я заметил, что горы начинают излучать удивительное свечение. Трепещущие радуги перекинулись, скрещиваясь, по небосклону, в зените проступили дивные светила разных цветов, и великолепное солнце не могло затмить их. Я помню чувство захватывающей красоты, ни с чем не сравнимого восторга и изумления. Когда же взгляд мой опустился вниз, я увидел, что толпы провожавших больше нет, весь ландшафт преобразился совершенно, и понял, что миг моего перехода в высший слой уже миновал.

Я был предуведомлен, что в этом слое буду совсем недолго, ибо все проходящие его минуют в несколько часов, но в эти часы весь этот слой – название его Файр – будет охвачен ликованием обо мне, его достигшем. Это – великий праздник, уготованный каждой восходящей душе, – о, не человеческой только, но и душам других монад Шаданакара, поднимающимся по ступеням Просветления, даже – высшим животным. В известном смысле Файр – рубеж пути: после него еще могут совершаться воплощения в Энрофе, но уже только с определенной миссией. Впоследствии не исключены падения, бунт, не исключена даже глубоко сознательная и тем более тяжкая измена Богу, но уже никогда не будет возможен слепой срыв, и на веки веков исключен из числа возможностей тот паралич духовного понимания, который в различные века Энрофа, проявляясь в психике живущих, менял свои разновидности, оттенки и названия, а в наш век преимущественно, хотя и не исчерпывающе, определяется как материализм.

Если искать в знакомых для всех явлениях хотя бы отдаленную аналогию тому, что видишь в Файре, нельзя остановиться ни на чем, кроме праздничной иллюминации. Надо ли при этом говорить, что самые великолепные из иллюминаций Энрофа сравнительно с Файром – не более чем несколько наших ламп в сравнении с созвездием Ориона.

Я видел множество существ в их вдвойне и втройне просветленных обликах: они явились сюда из более высоких слоев, движимые чувством сорадования. Чувство сорадования свойственно просветленным в несравненно большей мере и силе, чем нам; каждая душа, достигшая Файра, порождает это ликующее чувство у миллионов тех, кто миновал его ранее. Как передать состояние, охватившее меня, когда я увидел сонмы просветленных, ликующих оттого, что я, ничтожный я, достиг этого мира? – Не благодарность, не радостное смущение, даже не потрясение, – скорее оно было похоже на то блаженное волнение, когда смертные в Энрофе предаются неудержимым и беззвучным слезам.

Минут и форм перехода в следующий слой я не помню. Потрясающее переживание Файра вызвало глубокое изнеможение и как бы размягчение всех тканей души. И все, что я могу теперь восстановить из пережитого на следующей стадии подъема, сводится к одному состоянию, но

длившемуся очень долго, может быть, целые годы.

Лучезарный покой. Разве не противоречивое, казалось бы, словосочетание? С обилием света у нас связывается представление о деятельности, а не об отдыхе, о движении, а не о покое. Но это – у нас, в Энрофе. Не везде это так. Да и самое слово «лу– чезарный» не так точно, как хотелось бы. Потому что сияние Нэр– тиса лучезарно и в то же время невыразимо мягко; в нем сочетается чарующая нежность наших ночей полнолуния с сияющей лег– костью высоких весенних небес. Как будто убаюкиваемый чем-то. более нежным, чем тишайшая музыка, я растворялся в счастливой дремоте, чувствуя себя подобно ребенку, после многих месяцев, полных обид, страданий и незаслуженной горечи, укачиваемому на материнских коленях. Женственная ласка была разлита во всем, даже в воздухе, но с особенной теплотой излучалась она от тех, кто окружал меня, словно ухаживая с неистощимой любовью за больным и усталым. То были взошедшие раньше меня в еще более высокие слои и нисходящие оттуда в Нэртис к таким, как я, для творчества ласки, любви и счастья.

Нэртис – страна великого отдыха. Неприметно и неощутимо, безо всяких усилий с моей стороны, лишь в итоге труда моих друзей сердца, мое эфирное тело медленно изменилось здесь, становясь все легче, пронизанное духом и послушнее моим желаниям. Таким, каким является наше тело в затомисах, небесных странах метакультур, оно становится именно в Нэртисе. И если бы меня мог увидеть кто-нибудь из близких, оставшихся в Энрофе, он понял бы, что это – я, он уловил бы неизъяснимое сходство нового облика с тем, который был ему знаком, но был бы потрясен до глубины сердца нездешней светлотой преображенного.

Что сохранилось от прежнего? Черты лица? – Да, но теперь они светились вечной, неземной молодостью. – Органы тела? – Да, но на висках сияли как бы два нежно-голубых цветка – то были органы духовного слуха. Лоб казался украшенным волшебным блистающим камнем – органом духовного зрения. Орган глубинной памяти, помещающийся в мозгу, оставался невидим. Так же невидима была и перемена, совершавшаяся во внутренних органах тела, ибо все, приспособленное раньше к задачам питания и размножения, было упразднено или в корне изменено, приспособленное к новым задачам. Питание сделалось похоже на акт дыхания, и пополнение жизненных сил совершалось за счет усвоения светлого излучения стихиаблей. Размножения же – как мы его понимаем – ни в одном из миров восходящего ряда нет. Там есть иное, и об этом я скажу, дойдя до главы о Небесной России.

По истечении долгого времени я стал ощущать все прибывающее, радостное нарастание сил, как будто раскрытие таинственных и долгожданных крыльев. Не нужно понимать меня слишком буквально: речь не о появлении чего-нибудь, напоминающего крылья летающих существ Энрофа, но о раскрытии способности беспрепятственного движения во всех направлениях четырехмерного пространства. Это было еще только возможностью – неподвижность по-прежнему покоила меня, но возможность полета превращалась из неопределенной мечты в очевидную, открывающуюся передо мной перспективу. От друзей моего сердца я узнаю, что мое пребывание в Нэртисе подходит к концу. Мне казалось, что нечто, схожее с колыбелью, где я покоился, как бы медленно раскачивается вверх и вниз, и каждый взлет казался выше предыдущего. Это движение порождало предвкушение еще большего счастья, в которое я должен теперь войти. И я понял, что нахожусь уже в другом слое – в Готимне, последнем из миров сакуалы Просветления. То были как бы колоссальные цветы, размер которых не лишал их удивительной нежности, а между ними открывались бездонные выси и дали девяти цветов. О двух из них, лежащих за пределами нашего спектра, могу здесь только сказать, что впечатление, производимое одним из них, ближе всего к тому, которое оказывает на нас небесно-синий, а впечатление от другого отдаленно напоминает впечатление, которое здесь оказывает золотой.

Огромные цветы Готимны, составляющие целые леса, склоняются и выпрямляются, качаются и колышутся, звуча в непредставимых ритмах, и это их колыхание подобно тишайшей музыке, никогда не утомляющей и мирной, как шум земных лесов, но полной неисчерпаемого смысла, теплой любви и участия к каждому из там живущих. С легкостью и спокойствием, недостижимыми ни для какого существа в Энрофе, мы двигались, как бы плывя в любом из четырех направлений пространства между этими напевающими цветами, или медлили, беседуя с ними, потому что их язык стал нам понятен, а они понимали наш. Здесь, на небесно-синих полянах или подаче огромных, тихо мерцающих золотых лепестков, нас посещали те, кто сходит в Готимну из затомисов, чтобы подготовить нас, младших братьев, к следующим этапам пути.

Садом Высоких Судеб называется Готимна, оттого что здесь предопределяются надолго судьбы душ. Передо мной представало распутье: оно является всякому, взошедшему в этот слой. Выбранного здесь нельзя уже было бы изменить долгие столетия ни в одном из многих миров, здесь предызбираемых. Я мог свободно выбрать одно из двух: либо подъем в Небесную Индию, конец навсегда пути перевоплощений, замену его путем восходящих преображений по иноматериальным слоям; либо еще одно, может быть и несколько, существований в Энрофе, но уже не как следствие неразвязанной кармы — она была развязана, — а как средство к осуществлению определенных, только мне поручаемых и мною свободно принимаемых задач. И хотя слово «миссия» на русском языке звучит книжно и лишено поэзии, я буду употреблять его и впредь для обозначения таких специальных заданий, поручаемых отдельной душе для осуществления в Энрофе. Тяжесть ответственности того, кто принял миссию, возрастает во много раз, так как миссия связана всегда не только с судьбой ее носителя, но и с судьбой очень многих душ, судьбой и прижизненной, и посмертной, иногда же — с судьбой целых народов и всего человечества. Того, кто предаст свою миссию добровольно или вследствие слабости, ждет возмездие и искупление в самых глубоких и страшных слоях. Это не значит, что для прошедшего сквозь сакуалу Просветления невозможны более на земле падения, измены, этические срывы. Невозможен только срыв слепой, основанный на незнании о бытии Бога; но дремлющее на дне души под лучами Нэртиса и Готимны может пробудиться во мраке ночей Энрофа и повлечь носителя миссии в сторону или вниз. Если эти падения не затронут существа его миссии, Провиденциальные силы поднимут его из любого провала, чтобы миссия все-таки была осуществлена.

Передо мной открылась возможность спуска назад, уже в пределы другой метакультуры, мне до тех пор незнакомой и чуждой, еще совсем молодой, но с огромным грядущим. Что-то тревожное, бурное, сумрачное излучалось от этого огромного, разнослойного массива, смутно воспринимавшегося мною издалека. Задание же, принятое мной, должно было иметь отношение к великой задаче, выходящей далеко за пределы этой метакультуры и долженствовавшей в далеком грядущем охватить мир. Уже тысячи душ подготавливались для участия в этой задаче.

И я выбрал именно эту возможность. Я теперь понимал, что мною взята на плечи такая ноша, сбросить которую невозбранно уже нельзя.

И из Готимны Индии я был перенесен в Готимну России: там должна была закончиться моя подготовка к исполнению миссии, свыше принятой моим Я. Но падения, акты бунта и измены возможны и после светлых жизней, потому что тогда может проснуться в душе спавшее при солнечном свете. Были такие падения и на моем пути уже после Готимны. Однако на это придется бросить луч в некоторых других главах книги. Теперь же наступает время заговорить о затомисах, небесных странах метакультур.

Но если о сакуале Просветления я мог рассказывать как о пережитом на основании того, что удалось вспомнить, то о сакуале затомисов память может хранить лишь редкие, отрывочные образы, запечатлевшиеся гораздо позднее, во время моих трансфизических странствий,

совершавшихся в состоянии сна отсюда, из Энрофа России. Эти смутные образы дополнялись другим, неоценимым источником познания – трансфизическими встречами и беседами. Автобиографический метод к изложению этого материала неприменим. И следующие главы будут, к сожалению, протокольны и сухи, подобно главе об исходной концепции.

ГЛАВА 2. ЗАТОМИСЫ

Вершины метакультур, называемые затомисами, до некоторой степени совпадают с географическими контурами соответствующих культурных зон Энрофа. Пространство всех затомисов четырехмерно, но каждый из них отличается свойственным только ему числом временных координат. Материальность этой сакуалы сотворена одной из ангельских иерархий – Господствами; сами же затомисы медленно строятся совместными усилиями иерархий, героев, гениев, праведников и широчайших, способных к творчеству народных множеств, пока сверхнарод, их выдвинувший, продолжает свое становление в истории, – и позже, когда его исторический путь завершается и миллионы его бессмертных монад продолжают свое восхождение от одной высоты мирового познания и творчества к другой.

Основателем каждого из затомисов является кто-либо из великих человекодухов.

Панорама этих слоев очень отдаленно напоминает нашу природу. Пожалуй, из элементов земного ландшафта ближе всего к ландшафту затомисов – небо с облаками. Океанам нашим и морям соответствуют зоны как бы светлых паров, легко проницаемых и сияющих: это – души морских стихиалей; рекам Энрофа соответствуют их души, образования невыразимой красоты, на которую даже намекнуть нельзя словами «сияющие туманы».

Растительность мало походит на нашу: это – души стихиалей, о которых речь впереди. Пока достаточно, мне думается, сказать, что в затомисах находятся души некоторых стихиалей в промежутках между инкарнациями.

Смена суток в этих слоях протекает совершенно так же, как у нас, будучи обусловлена тем же самым вращением планеты вокруг оси. Погода меняется в пределах приятного и прекрасного.

Высшее человечество – синклиты метакультур – наша надежда, наша радость, опора и упование. Праведники, некоторые родомыслы и герои вступают сюда почти сразу после смерти в Энрофе, быстро миновав миры Просветления. О подавляющем большинстве таких душ нам не расскажет никакая история: они прошли в глубине народа, не оставив следа ни в летописях, ни в преданиях – лишь в памяти тех, кто их знал или слышал о них от живых свидетелей. Это незаметные герои нашей жизни; думать иначе, то есть вообразить синклит метакультуры в виде некоего собрания «знаменитостей», значило бы доказать, что наш нравственно-мистический разум спит еще крепким сном.

Другие, в особенности носители особых даров, даже павшие после смерти в глубину чистилищ, поднимаются оттуда силами Света, сокращающими сроки их искупительного очищения, и вступают в синклит.

Не только иные из художественных гениев, но еще больше родомыслов и героев, а праведники – все, развязали еще в Энрофе свои кармические узлы, искупили груз своих вин, и смерть для них была широко распахнутыми воротами затомисов.

Других смерть застигла еще не подготовленными к высшим ступеням, еще отягощенными. Таким приходится сначала миновать ряд ступеней в верхних чистилищах – верхних по отношению к страшным кругам магм и земного ядра, но нижних по отношению к нам. Многие тысячи таких душ, достигнув, наконец, Готимны, избирают не новые спуски в Энроф, но труд и великую борьбу в братствах затомисов.

Третьи не отяготили своих душ в Энрофе никакими падениями, напротив; но кругозор их, объем их знания, их чувство космического, хотя и выросли после Олирны, все же недостаточно велики. Путь из Олирны означал для них начало странствия, иногда – долгого, даже длящегося, может быть, века, пока они не станут способными вместить задачи и мудрость синклита. Таким образом, между последней смертью в Энрофе и вступлением в синклит такие души не искупают,

а только расширяют и обогащают себя.

Путь перевоплощений вообще не есть универсальный закон. Но преобладающая часть монад движется все-таки по этому пути. Они испытали уже ряд рождений в других народах Энрофа, в других метакультурах, даже в другие тысячелетия и на других концах земли, а до человеческого цикла многие из них проходили свой путь в других царствах Шаданакара; их шельты надстояли, быть может, даже над существами растительного и животного царств. Иные знали в незапамятные времена воплощения в человечестве титанов, среди праангелов или даймонов. Воспоминание об этой гирлянде рождений хранится в их глубинной памяти; и объем духовной личности таких монад особенно велик, пучина воспоминаний особенно глубока, их будущая мудрость отличается особенной широтой. Носители высшего дара художественной гениальности, которым посвящено несколько глав в другой части этой книги, все имели позади себя подобную гирлянду воплощений. И напротив: праведники метакультур христианских, в противоположность праведникам некоторых восточных метакультур, знают, в большинстве, иной путь восхождения: путь, приводящий в Энроф лишь раз, но зато в странствиях по другим слоям раскрывающий перед глазами такие высоты мира, что память об этом пылает в их душах как звезда, и ее лучи во время их единственной жизни в Энрофе распутывают в их сердце все тенета тьмы.

Деятельность синклитов необозримо многообразна и широка, а во многом для нас и непостижима. Я мог бы указать на три ее стороны: помощь – творчество – борьбу.

Помощь – всем, еще не достигшим затомисов. Ангелы мрака, хозяева чистилищ, не выпустили бы своих жертв еще века и века, если бы не безостановочные усилия синклитов. Магмы и ужасающие миры земного ядра удерживали бы страдальцев вплоть до третьего мирового периода (ныне подходит к концу еще только первый). Живущие в Энрофе были бы окружены почти непроницаемым панцирем духовной тьмы, если бы не синклиты.

Но эта работа, избавляющая одних, облегчающая других, предохраняющая третьих, обогащающая четвертых, просвещающая пятых, – лишь одна сторона. Другая сторона – творчество автономных ценностей, значение которых непреходяще. Однако для нас созерцание творений синклитов, а тем более понимание их, возможно лишь в минимальной степени. Передача же их смысла при помощи наших понятий исключена полностью.

Несколько понятнее третья сторона деятельности синклитов – их борьба с демоническими силами. Можно сказать, что бороться им приходится телесно, но, конечно, оружие их не имеет с оружием Энрофа ни одной точки соприкосновения. Оно разнообразно; оно зависит и от совершенства владения собственным существом, и от того, против кого оно направлено. Однако общий его принцип характеризуется тем, что это – концентрация волевых излучений, парализующих врага. Гибель в бою для братьев синклита невозможна. Возможно другое: в случае поражения – длительный плен в глубине демонических крепостей.

Ландшафты затомисов осложняются неким эквивалентом городов, очень мало, впрочем, походящих на наши, тем более, что жилищ, в строгом смысле этого слова, там нет. Назначение сооружений – совершенно особое; это преимущественно места общения братьев синклита с другими мирами и с духами других иерархий. Здания, где протекает их общение в его высших формах с монадами стихий, называются шеритами. И все же в архитектуре затомисов угадываются стили, знакомые нам, но как бы возведенные на несравненно более высокие ступени. Это результат параллельных процессов, понять которые нелегко. Нелегко – но следует. Дело в том, что прекрасные архитектурные сооружения Энрофа, насыщаясь излучениями многих человеческих психик, приобретают этим самым душу, точнее – астрал: такие астралы пребывают в затомисах. Но в затомисах есть и такие сооружения, никакого двойника которых в Энрофе нет, например – те же шериталы. Есть и такие, которые были уловлены, поняты

творцами Энрофа и намечены ими к воплощению на земле, но история поставила этому непреодолимую преграду.

Братья синклитов могут опускаться в миры нисходящего ряда вплоть до магм и подниматься до весьма высоких слоев, которые обозначаются как Высшие Аспекты Трансмифов мировых религий.

В каждом затомисе господствует преображенный язык соответствующей страны Энрофа, здесь это не только звуко-, но и светоязык. Нисколько не странно применить к этим языкам и наше понятие словарного «фонда»; при этом надо указать, что фонд этот весьма отличен от нашего, соответственно иному, несравненно более богатому запасу понятий. Наряду с этими языками метакультур есть и общий язык для всех: названия слоев, существ и иерархий – оттуда. Быстрота и легкость усвоения различных языков здесь не может идти ни в какое сравнение с соответствующим процессом в Энрофе: это происходит безо всякого труда, само собой. Общий язык затомисов принято называть языком Синклита Мира, но это не вполне точно: Синклит Мира, о котором речь далеко впереди, знает такие формы общения, какие не имеют ничего общего с какими бы то ни было звуковыми языками. Но, нисходя с высот в затомисы метакультур, братья Синклита Мира направляли создание единого языка затомисов, и только поэтому условное наименование этого языка связано с их именем.

В затомисах, кроме синклитов, обитают еще и другие существа: будущие ангелы. Это чудеснейшие творения Божий, и если мы вспомним сиринов и алконостов наших легенд, мы приблизимся к представлению о тех, чье присутствие украшает жизнь в затомисах Византии и России: к представлению о существах, предопределенных стать потом «солнечными архангелами». В других затомисах обитают иные существа, не менее прекрасные.

Итак, я дошел до перечня затомисов.

Их девятнадцать.

Маиф – древнейший из затомисов, небесная страна и синклит Атлантической метакультуры, существовавшей в Энрофе приблизительно с двенадцатого по девятое тысячелетие до Рождества Христова.

Атлантида находилась на архипелаге островов, крупнейший и главнейший из которых по размерам напоминал Сицилию. Ее населяла красная раса. То было рабовладельческое общество, сперва составлявшее несколько мелких государств, позднее объединившихся в деспотию. Мировоззрение было политеистическим с огромным пластом магии. Пантеон и культ омрачались включенным в него демонопоклонством. Ближе всего из хорошо известных нам культур Атлантида была бы к Египту и отчасти к ацтекам, но сумрачнее и тяжелее. Из искусств доминировали архитектура, скульптура и танец. Цивилизацию ни в коем случае нельзя назвать высокой, хотя атланты, пользуясь наличием цепи мелких островов между Атлантидой и Америкой, поддерживали связь с этим континентом, откуда вели свое происхождение. Позднее им случилось добраться и до Западной Африки, предание об Атлантиде достигло впоследствии до Египта через посредство древней Суданской цивилизации, ныне неизвестной, но следы которой еще могут быть обнаружены в будущем. Над этическими представлениями атлантов довели образы беспощадных и алчных божеств, и в культе большую роль играло ритуальное людоедство. В поздний период возникли полуэзотерические религиозные движения светлой направленности. Но в общем картина была довольно мрачной вследствие большой активности демонических начал.

Главный остров и окружавшие его мелкие погибли от ряда сейсмических катастроф. Небольшие группы жителей спаслось в Америке, одна – в Африке, где и растворилась в негрском населении Судана. Ныне Маиф, существующий уже около пятнадцати тысячелетий над некоторой зоной Атлантического океана, достиг огромного могущества Света.

Эмблематический образ:

Красный храм на черном фоне; перед ним – четыре фигуры в белом, с воздетыми руками.

Фигуры обозначают культы четырех светлых божеств: именно через эти культы в Атлантическую культуру сходилась духовность.

Линат – затомис так называемой Гондваны, если понимать под этим именем не тот незапамятно древний материк, который, задолго до человека, существовал в Индийском океане, – но метакультуру, очагами которой в Энрофе были Ява, Суматра, Южный Индостан и некоторые города, ныне покоящиеся на дне моря. Время существования Гондванской культуры – шесть и более тысячелетий до Р.Х.

Эта была группа государств – торговых олигархий на рабовладельческой основе, причем сильно развитое мореплавание Гондваны втянуло в торговый и культурный обмен побережья Индокитайского полуострова, Цейлон и многие острова Индонезии. Господствовали политеизм и, в основном, те же три искусства; танец развился до театра мистерий. Но кровожадность и религиозно-демоническая жестокость атлантов Гондване были незнакомы. Это был чувственный, сангвинический, жадный до жизни народ, богато одаренный художественно, с очень напряженной жизнью сексуальной сферы. Мистика пола пронизывала и культ, и повседневную жизнь, достигавшую в эпоху расцвета подлинного великолепия; подобной роскоши не знали ни Атлантида, ни даже Вавилон и Египет. Расу Гондваны можно, мне кажется, назвать протомалайской. Во всяком случае, коричневая кожа плотно обтягивала их широкие скулы и полные губы, удлинённые глаза были слегка раскосы, фигуры стройны и мускулисты, с широкими плечами, тонкой талией и очень крепкими икрами ног. Народ был красив полнокровной и страстной красотой юга.

Через несколько тысячелетий в этой же зоне возникла Индомалайская культура, кое в чем повторявшая свою предшественник, но гораздо более одухотворенная.

Эмблематический образ Лината:

Женщина в фиолетовом и мужчина в зеленом, обнявшие друг друга за плечи, на золотом фоне, под красной нижней половиной солнечного диска.

Фиолетовый цвет означает здесь скрещение синего – сил Мировой Женственности, низлияние которых с такою мощью произошло в Гондванской метакультуре впервые за все время существования нашего человечества, – с красным: он символизирует стихийность, но не в смысле стихийной Природы, а в смысле чрезвычайной активности некоторых стихийных сил, связанных с человечеством. Зеленый обозначает такую же силу активности стихийных сил Природы. Золото – иератический фон, говорящий о развитой уже духовной реальности, стоящей за этим сверхнародом.

Иалу (кажется, он носит также имя вроде Атхеам) – затомис Древнеегипетской метакультуры.

Совершенно затмившая Атлантиду своими масштабами и величавостью, эта культура создала, еще во времена своего исторического бытия, огромный синклит и ослепительный затомис. Однако демоническим силам удалось одержать серьезную победу в четырнадцатом веке до н.э., когда через великого родомысла и пророка Эхнатона Провиденциальные силы сделали первый в мировой истории шаг к озарению народных сознаний реальностью Единого Бога. Если бы реформа Эхнатона удалась, встретив достойных преемников и продолжателей, миссия Христа была бы осуществлена на несколько веков раньше, и не на Иордане, а в долине Нила.

Замечу, что египетская вера в Небесный Нил имела под собой переживание высшей действительности. Текущая через Иалу – мифическую страну Блаженных, то есть через затомис метакультуры, – великолепная река многослойна: это и великая одухотворенная стихияль

земного Нила, и Соборная Идеальная Душа египетского народа.

Эмблематический образ:

Белая ладья с парусами на синей реке, текущей к солнцу.

Эанна – затомис древней Вавилоно-ассиро-ханаанской метакультуры, возникшей, по-видимому, в четвертом тысячелетии до Р.Х. Семиступенчатые храмы-обсерватории, сделавшиеся вершинами и средоточиями великих городов Двуречья, повторяли в Энрофе, как отражения, грандиозный небесный город, сооружаемый синклитом этого затомиса. Но зиккураты в городах Вавилонии и корпорация высокожреческого жречества, принимая на этих мистических обсерваториях излучения светлых космических сил, не убереглись от принятия также чрезвычайно деятельного излучения галактического анти-Космоса, центр которого в Энрофе совпадает с системой звезды Антарес. Это все более замутняло и без того двойственную религию, вливало тонкий яд в существо воспринимающих, оплотняло и утяжеляло их душевный состав грузом сомнения и отрицания.

Вавилонская метакультура была первой, в которой Гагтунгру удалось добиться в подземном четырехмерном слое, соседнем с вавилонским шрастром, воплощения могучего демонического существа, уицраора, потомки которого играли и играют в метаистории человечества огромнейшую и крайне губительную роль. В значительной степени именно уицраор явился виновником общей духовной ущербности, которой была отмечена эта культура в Энрофе. И хотя богиня подземного мира, Эрешкигаль, побеждалась в конце концов светлой Астартой, нисходившей в трансфизические страдания Вавилона в порыве жертвенной любви, но над представлениями о посмертье человеческих душ, исключая царей и жрецов, довлело пессимистическое, почти нигилистическое уныние: интуитивное понимание парализующей власти демонических сил.

Эмблематический образ:

Семиступенчатый белый зиккурат.

Семь ступеней обозначают те семь слоев, которые были пережиты и ясно осознаны религиозным постижением Вавилонского сверхнарода.

Шан-Ти – затомис Китайской метакультуры, существовавшей в Энрофе со второго тысячелетия до н.э. по сей день. Его значительное усиление началось в последние века перед Христом, когда конфуцианство создало долговечный нравственный кодекс и жизненный уклад, способствовавший поднятию общенародного этического уровня. Однако свободному развитию высших сторон души ставился весьма невысокий потолок. Постепенно окаменев, конфуцианский закон стал не только путем восхождения, сколько тормозом. Этим объясняется то, что объем и сила китайского затомиса, несмотря на его древность, не так велики, как можно было бы ожидать. Распространение буддизма распростерло над географическим Китаем другой затомис, сосуществующий с Шан-Ти и в последние века принимавший в себя гораздо больше просветленных душ, чем национально-китайский затомис.

Эмблематический образ:

Прекрасное женское лицо в лотосообразной короне.

Сумэра (или Мэру) – которое из этих имен следует считать более правильным, мне неизвестно.

Затомис Индийской метакультуры – самый могучий из всех затомисов Шаданакара. Уже по древней мифологии, вершина горы Сумэры была увенчана городом Брахмы, на ее склонах располагались города других божеств индуизма, но Небесная Индия не ограничивалась их числом, а включала несколько больших участков суши, разделенных морями. Ныне Небесная Индия надстоит над географической зоной Энрофа, гораздо более широкой, чем пределы Индийского государства. На протяжении четырех тысяч лет духовная деятельность

исключительно одаренных в религиозном отношении народов Индии привела к тому, что две метакультуры отделились от нее, став самостоятельными системами слоев, а саму Небесную Индию восполнило столь огромное число просветленных, что в XX веке влияние ее синклита перевесило всю силу демонических начал: Индия оказалась единственной культурой Энрофа, неуклонно развивающейся по высокоэтическому пути. Еще гораздо раньше мощь Индийского синклита воспрепятствовала созданию силами Гатунгра, как это сделали они в остальных метакультурах, слоев безысходных страдальщ. До Христа эта метакультура оставалась единственной, обладавшей чистилищами и не достигавшей своей нижней окончательностью до магм.

Мэру имеет два великих средоточия: над Гималаями и над горами Нильгири в Центральной Индии, – и множество меньших. Кроме того, в Энрофе Индийский синклит обладает прочной точкой опоры в лице некоего текучего коллектива людей, эпохально перемещающегося по некоторой географической кривой: до второй мировой войны он находился на Памире, ныне – в Южной Индии.

Ландшафт Небесной Индии схож с ландшафтом Небесной России, но природа роскошнее: сказываются и тропический характер соответствующих стран Энрофа, и большая длительность существования этого затомиса. Через весь затомис течет Небесная Ганга: для Индийской метакультуры она имеет то же двойное значение, что Небесный Нил для Египетской.

Эмблематический образ:

Три белых горных цепи, одна выше другой, увенчанные золотыми городами. Смысл: первая цепь – затомис, вторая и третья весьма высокие миры, наивысший аспект Индуистского трансмифа.

Зерван – затомис Древнеиранской (маздеистской) метакультуры.

Недостаточная четкость идеи единобожия в этой, впрочем, весьма возвышенной и чистой религии, не позволила создать почву, бывшую необходимой для того, чтобы миссия Христа могла бы осуществиться в Иране. Позднейшая попытка Иранской метакультуры восполнить эту свою неудачу созданием новой международной религии – манихейства завершилась вторичной неудачей благодаря тому, что демоническая инволюция получила доступ к творческому сознанию ее основателей. К моменту мусульманского завоевания Иранская культура исчерпала свое поступательное движение. В последующие века единственной точкой опоры ее в Энрофе оказалась община парсов в Индии. Естественно, что число вступающих через миры Просветления в Зерван теперь чрезвычайно невелико, а сам Зерван почти оторвался от географических зон Энрофа.

Эмблематический образ: Жертвенник с пылающим огнем.

Олимп – затомис древней Греко-римской метакультуры.

Этим именем называется и средоточие затомиса, величайший град просветленных, действительно связанный с географическим районом горы Олимп, и вся небесная страна Греко-римской метакультуры. Бывший в эпоху исторического существования Эллады и Рима обиталищем и ареной деятельности тех нечеловеческих иерархий, которые отразились в образах греко-римского пантеона, этот затомис сделался постепенно в тысячелетие после Христа обиталищем синклита. Иерархии, пребывавшие там некогда, за истекшие века совершили огромный путь восхождения и ныне обитают и действуют в несравненно более высоких мирах, в то же время, однако, надстоя над Олимпом и действительно инволютируя его синклит.

Аполлон – имя демиурга Греко-римской метакультуры. Афина Паллада – имя Соборной Идеальной Души этого сверхнарода.

Эмблематический образ:

Белый античный храм на горе, на фоне голубого неба.

Нихорд – затомис Еврейской метакультуры, нижний, только нижний слой синклита Израиля.

Основателем Нихорда был великий человекодух Авраам. Древние учителя еврейства инвольтировались демиургом этого сверхнарода, но чистоте этой инвольтации мешали воздействия сперва стихийальные, связанные с «гением места» горы Синай, потом – еврейского уицраора. Все же под Я библейских книг следует видеть Всевышнего. Монотеизация была необходима для всего человечества, как почва, без которой не могла осуществиться в Энрофе задача Христа. Внедрение в сознание народа идеи единобожия было достигнуто ценой колоссального напряжения сил, истощившего Нихорд на долгое время. Отсюда – не всегда победоносная борьба с демоническими силами и трагический характер еврейской истории. В столетие, завершившееся жизнью и смертью Иисуса, эта географически маленькая зона была ареной напряженнейшей борьбы сил Гагтунгра и Божественных сил. Несколько подробнее об этом будет сказано в другом месте. Воскресение Христа было встречено в Нихорде великим ликованием: отношение еврейского синклита к Планетарному Логосу – такое же, как и в остальных затомисах, другого не может и быть. Но тех, кто входит в Нихорд, перед этим в Олирне ждет открытие истины Христа, не понятой ими на земле, – открытие изумляющее, которое многие долго не могут осмыслить. Гибель Иерусалима и еврейского царства отразилась в Нихорде скорбью, но с сознанием логичности происшедшего: с агрессивным, но слабым еврейским уицраором не могло бы случиться ничего другого после того, как он вступил в непримиримую борьбу с демиургом сверхнарода в годы проповедничества Христа на земле. После окончательного разгрома евреев при Адриане еврейских уицраоров больше не было и нет. Но за уицраором стояла еще одна, более страшная демоническая иерархия – исчадие Гагтунгра, истинный соперник демиурга; он продолжал воздействовать на еврейство и в эпоху рассеяния. Средневековый иудаизм продолжал формироваться под воздействием двух полярных влияний: этого демона и Нихорда. Теперь Нихорд пополняется уже очень малым числом новых братьев, входящих, однако, именно через иудаизм в миры Просветления. Восстановление государства Израиль в XX веке не имеет к Нихорду никакого отношения; восстанавливаемый храм – театральный спектакль, не более. Нового израильского уицраора не возникло, но схожую роль играет одно из существ, о которых будет сказано в главе об эгрегорах; на него оказывается сильнейшее воздействие из главного гнездилища демонических сил.

Географически Нихорд связан до сих пор с районом Палестины.

Эмблематический образ:

Шатрообразное сооружение, окруженное деревьями с огромными красными плодами. Смысл: шатер – скиния Завета, символ впервые удержавшегося в истории откровения Единого; деревья с плодами – Земля Обетованная, ожидающая сверхнарод не на земле, а в затомисе.

Рай – условное наименование затомиса Византийской метакультуры. Как и остальные затомисы христианских метакультур, это – одна из лестниц, ведущих с разных сторон к чрезвычайно высокому миру, называемому Небесным Иерусалимом: он есть не что иное, как Высший Аспект Христианского Трансмифа; вопрос о нем будет освещен немного позднее.

Рай – древний, мощный слой, существующий отчасти и над Россией. Его основатель – великий человекодух, бывший в Энрофе Иоанном Крестителем.

Победа Иисуса Христа, хотя осуществившаяся лишь частично, вызвала громадное возбуждение сил в демонических мирах. В частности, их усилия направились на то, чтобы не дать преобразить страдалища Византийской метакультуры во временные чистилища. Эти усилия увенчались успехом, но, в конечном счете, их жертвой пала Византийская культура в Энрофе. Отсутствием чистилищ и неизбежным для грешников посмертным спуском в безысходные муки магм и Ядра было вызвано то устойчивое ощущение ужаса перед малейшим грехом, которое

было свойственно наиболее одаренным духовно людям Византии; в значительной степени именно это привело к крайности аскетизма.

Южнославянские народы метаисторически находятся в промежуточной области между Византийской, Российской, Римско-католической и Мусульманской метакультурами. Синклиты их – в Раю.

Эмблематический образ:

Ручей в цветущем саду, люди в золотых одеждах. Одежда символизирует преображенное тело, золотой цвет – пронизанность силами Отца Миров.

Эдем – условное наименование затомиса Романо-католической метакультуры, одна из лестниц, ведущих к Небесному Иерусалиму. К этой метакультуре принадлежит и несколько народов другого этнического корня: поляки, венгры, чехи, ирландцы, хорваты.

Основатель Эдема – великий человекодух, бывший в Энрофе апостолом Петром.

Эмблематический образ – тот же, что у Рая, но преобладающий цвет – голубой. Голубой цвет означает большую пронизанность католичества началом Мировой Женственности.

Монсальват – затомис метакультуры европейского Северо-Запада, Американского Севера, а также Австралии и некоторых частей Африки: самый географически обширный и расчлененный из всех затомисов. Основатель Монсальвата – великий человекодух Титурэль, связанный с Христом задолго до воплощения Спасителя в Палестине. Так же, как Лоэнгрин и Парсифаль, он является не легендарным героем, а реально существовавшим некогда в Энрофе (хотя и не в Палестине) человеком. Грааль содержит эфирную кровь Христа, пролитую им на Голгофе.

Разграничение слоев Эдема и Монсальвата основано главным образом на национально-культурных различиях между романскими и германскими народами. Но большая религиозность или светскость деятельности человека вносила в посмертные судьбы людей Западной Европы множество корректив, тем более, что Монсальват возник на несколько веков позже Эдема. Франция находится в промежуточном положении, ее трагедия в том, что у нее нет своего синклита. Одни из восходивших монад поднимались из Франции в своем посмертии в Эдем, другие – в Монсальват.

Центр Монсальвата, ранее связанный с системой Альп, в конце средних веков переместился далеко на Восток и теперь находится в связи с Памиром (причины этого очень сложны). Но над Европой и Америкой блещет множество других, меньших метагородов. Некоторые из них надстоят над небольшими по физическому масштабу, но духовно могучими центрами Энрофа, как Гейдельберг, Кембридж, Веймар.

Эмблематический образ:

Храм готического стиля, но белый, на горном пике; на фоне храма – алая сияющая чаша.

Жюнфлейя – затомис Эфиопской метакультуры, которая две тысячи лет влачила свое существование в исключительно неблагоприятных историко-географических условиях, как островок христианства между двумя враждебными океанами – ислама и примитивного язычества негрских племен. Эта метакультура не смогла осуществить и одной десятой своих потенций. Ныне протекает мучительный метаисторический процесс – Жюнфлейя перемещается в другую сакуалу: сакуалу метакультур, трагически недостроенных в Энрофе. При исключительно счастливом стечении исторических обстоятельств этот процесс еще может приобрести обратную) направленность.

Эмблематический образ:

Белое круглое здание в развевающихся покрывалах. Смысл: здание – затомис, покрывала – тонкие и тончайшие материальности.

Джаннэт – затомис Мусульманской метакультуры.

От остальных мировых религий ислам отличается тем, что у него отсутствует высший

аспект трансмифа, то есть в чрезвычайно высокой сакуале миров высших трансмифов мировых религии нет мира, специально связанного именно с исламом. Это сказалось в бедности мусульманской мифологии, в несамостоятельности большинства разработанных в нем трансфизических образов и сюжетов, почерпнутых преимущественно из иудаизма и христианства. Представляя собою во многом по отношению к христианству регресс, ислам тем не менее дает душе возможность восходящего движения, способствует втечению в жизнь сил духовности и за период своего исторического существования создал не столь мощный, но все же очень яркий затомис и блистающий синклит.

Эмблематический образ:

Белая мечеть между двух симметрично склоняющихся пальм; люди в зеленом и белом. Смысл: мечеть – затомис, пальмы – два основных вероисповедания ислама.

Сукхавати – «Западный рай Ами табхи-Будды» – затомис метакультуры, связанной с северным буддизмом, так называемой Махаяной. Он господствует над Тибетом и Монголией, а над Японией и Китаем сосуществует с Шан-Ти и с национальным японском затомисом Никисакой.

Сукхавати отделился от материнской Индийской метакультуры в IX веке, когда средоточия буддизма окончательно передвинулись из Индии в Тибет и Китай. Особенно же усилился он три-четыре столетия спустя, когда блистательно начавшая свой путь Гималайская метакультура начала клониться к преждевременному упадку и за тибето-китайскими центрами буддизма закрепились руководящая роль.

Затомис Сукхавати – один из самых многочисленных и сильных. Это – одна из двух лестниц к тому высокому миру «Высшего Аспекта Буддийского Трансмифа», который носит имя Нирваны и о котором мы будем говорить впоследствии.

Эмблематический образ:

Заря над лотосами.

Айренг-Далянг – затомис чудеснейшей, мало известной пока у нас в России Индомалайской метакультуры. Отделившись от метакультуры Индийской около V века, она охватила брахмано-буддийские царства Явы, Индокитайского полуострова и Цейлона, одно время исторически выражалась в объединившей эту территорию империи Сайлендра, но позднее была резко ослаблена отрывом Явы, подпавшей исламу, и в конце XIX века – хищными демонами – уицраорами Европы. Теперь она еще теплится в индокитайских королевствах, но благоприятный исторический климат мог бы вызвать ее новое цветение.

Эмблематический образ:

Смеющиеся дети в саду храма-дворца.

Небесная Россия – об этом затомисе будет сказано подробнее, чем о других, несколькими строчками ниже.

Затомис Негрской метакультуры. К сожалению, мне о нем неизвестно почти ничего, даже его имя. Известно, что он молод и еще очень слаб. После крушения Суданской культуры с ее религией, допускавшей низлияние духовности не только на верхи, но даже в толщу негрских народов Экваториальной Африки, негры надолго утратили возможность восходящего посмертия. Оно стало приоткрываться им лишь несколько веков назад в связи с тем, что некоторые племена достигли той стадии, когда смутные политеистические системы делаются доступными для вмещения первых проявлений духовности. Еще в большей степени восходящее посмертие открылось негрским народам вместе с распространением – к сожалению, слабым – ислама и христианства. Метаисторическое значение имело и в факте образования Либерии, создавшей в Экваториальной Африке небольшой, но прочно защищенный очаг христианской духовности. С негрским затомисом связано также негритянское население Америки. Представители белой

расы поднимаются в этот затомис лишь в виде редкого исключения. Гарриэт Бичер-Стоу, например, достигнув Монсальвата, удалилась оттуда в негрский затомис, где ее деятельность долгое время имела огромное значение, а положение ее было схоже отчасти с положением королевы, отчасти – с положением главы священства.

Эмблематический образ:

Лестница, ведущая от озера к оранжевому круглому зданию. Смысл: озеро – материальность сверхнарода, здание – затомис. Оранжевый цвет – скрещение солнечного золота с аlostью тех стихий, которые связаны не с царствами природы, а с человечеством.

Последний из великих затомисов находится в состоянии творения. Это – Аримойя, будущий затомис общечеловеческой метакультуры, связанной с возникновением и господством грядущей интеррелигии Розы Мира. Материальность Аримойи, как и других затомисов, создается одной из ангельских иерархий – Господствами; великий человекодух, бывший в последнем воплощении на Земле Зороастром, руководит созданием того, что я решусь условно обозначить выражением «великий чертеж».

Эмблематический образ:

Белый многобашенный собор, с главной центральной башней, колоннадами и лестницами, окруженный рядом огромных струнных инструментов, похожих на золотые лиры. Смысл: башни – затомисы человечества, центральная башня – Аримойя; колоннады – миры даймонов, ангелов, стихий, просветленных животных; лиры – все народы земного шара.

Небесная Россия.

Эмблематический образ: многохрамный розово-белый город на высоком берегу над синей речной излуиной.

Как и остальные затомисы, Небесная Россия, или Святая Россия, связана с географией трехмерного слоя, приблизительно совпадая с очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам соответствуют ее великие средоточия; между ними – области просветленно прекрасной природы. Крупнейшее из средоточий – Небесный Кремль, надстоящий над Москвою. Нездешним золотом и нездешней белизной блещут его святилища. А над мета-Петербургом, высоко в облаках того мира, высится грандиозное белое изваяние мчащегося всадника: это – не чье-либо личное изображение, а эмблема, выражающая направленность метаисторического пути. Меньшие средоточия рассеяны по всему затомису; среди них – и метакультурные вершины других наций, составляющих вместе с русской единый сверхнарод. Здесь пребывают синклиты Украины, Грузии, Армении; теперь к этому затомису начинает примыкать и синклит народа болгарского вместе со своими небесными городами. Общая численность обитателей Небесной России мне неизвестна, но я знаю, что около полумиллиона просветленных находится теперь в Небесном Кремле.

Демиург Ярост проявляеся в небе и воздухе этого мира так, как если бы прозрачный океан могущества проходил от одного небосклона до другого и заливал бы сердца. Это могущество сосредоточивается в храмах демиурга, образ его очерчивается, голос его становится внятнм, и возникает общение между ним и просветленными – общение, придающее им силу и высшую мудрость.

Так же проявляет себя другая, схожая с демиургом иерархия – великие духи-народоводители отдельных наций, входящих в состав нашей метакультуры. Среди них есть и более древние, чем снижение: отрицался Узкий Путь как таковой. Мухаммед, умирая, Но ни Навны – Идеальной Соборной Души народа русского, ни ее сестер – соборных душ других народов, все еще нет здесь: плененные в глыбах государственности, в цитадели великодержавного демона, уицраора, в подземном мире российского античеловечества, они достигают Небесной России лишь отдаленными звучаниями, ослабленными отблесками.

Моря светящихся эфиров – это души стихийалей, сияющих красками, непредставимыми для нас, омывают там сооружения, которые отдаленно можно было бы уподобить громадам лазурных и белых гор.

Об этом мире поет русская церковь, когда провожает новопреставленных в невозвратный путь, дабы Господь упокоил их в «месте светлом, месте злачном, месте покойном, иде же несть ни печали, ни въздыхания, но жизнь бесконечная».

Новые пришельцы являются в Небесной России в особых святилищах, имея при этом облик не младенцев, а уже детей. Состояние вновь прибывших схоже именно с состоянием детства; смена же возрастов заменяется возрастанием просветленности и духовной силы. Нет ни зачатия, ни рождения. Не родители, а восприемники подготавливают условия, необходимые для просветленной души, восходящей сюда из Готимны. В обликах некоторых из братьев синклита можно было бы угадать черты, знакомые нам во времена их жизни в Энрофе: теперь эти черты светозарны, ослепительны; они светятся духовной славой, истонченны и облегченны. Производимая преображенным телом, их одежда светится сама. Для них невозбранно движение по всем четырем направлениям пространства; оно отдаленно напоминает парение птиц, но превосходит его легкостью, свободой и быстротой. Крыльев нет. Восприятию просветленных доступно множество слоев: нисходящие – чистилища, магмы, страшная Гашшарва; восходящие – миры Просветления, круги ангелов, даймонов и стихийалей, миры инвольтаций других брамфатур, миры Высших Аспектов Мировых Трансмифов. Они вхожи в темные шрастры – миры античеловечества, обитатели которых видят их, но бессильны их умертвить; они вхожи и в наш Энроф, но люди способны их воспринять только духовным зрением.

Та любовь между мужчиной и женщиной в Энрофе, которая достойна именоваться великой, продолжается и здесь, освобожденная от всего отягощавшего, возросшая и углубившаяся. Между некоторыми существует и телесная близость, но от задач продолжения рода она совершенно откреплена и вообще не имеет ничего схожего с телесной близостью в Энрофе. Многие органы тела здесь полностью изменили свою структуру, назначение и смысл, в том числе органы, связанные с принятием и усвоением пищи, потому что процесс восстановления жизненных сил здесь схож с дыханием. Возрастание духовности постепенно подводит просветленного к следующей великой трансформе тела, которая ведет в более высокие миры, в Небесный Иерусалим и еще выше – вплоть до Синклита Мира и Элиты Шаданакара.

В затомисах нет ничего, схожего с нашей техникой: она заменена другим, крайне трудно поддающимся пониманию. Можно, впрочем, констатировать, что принцип – не в создании механических приспособлений, сделанных из посторонней материи, а в развитии многообразных способностей собственного существа. Из посторонней материи создается здесь лишь то, что сравнимо в какой-то мере с творениями наших пространственных искусств.

Всюду блистают здесь души церквей, существовавших у нас, или таких, которые должны были быть построены. Многие храмы имеют, однако, назначение, трудно понятное для нас. Есть святилища для общения с ангелами, с Синклитом Мира, с даймонами, с верховными иерархиями. Несколько великих храмов предназначено для встреч с Иисусом Христом, временами сходящим сюда, принимая зримый, человекоподобный облик, другие – для встреч с Богоматерью. Теперь там воздвигается величайший храм: он предназначен стать обителью того Великого Женственного Духа, который примет астральную и эфирную плоть от брака Российского демиурга с Идеальной Соборной Душой России. Я еще с детства привык называть этот храм храмом Солнца Мира, но это название неправильно. Закономерно относимо оно к другому сооружению, еще более грандиозному, тому, что намечается созданием в Аримойе. Храм же, создаваемый в Небесном Кремле, именуется обителью Звенты-Свентаны, и впоследствии я объясню, что значит это имя. Это великая Женственная Сущность ныне стала

уже существом одного из высочайших миров Шаданакара. В Энрофе она не примет плоти никогда, но родится в Небесной России, приняв человекоподобный облик. Это будет не царица наша и не богиня, – свет, благодать и божественная красота.

Лестница дивных, один сквозь другой просвечивающих миров поднимается из алтаря в храме Женственности, в храмах Христа, в храмах демиурга Яросвета. Лестница поднимается в Небесный Иерусалим и, наконец, к преддвериям Мировой Сальватэрры.

Временами в Небесной России рождаются великие человекодухи – те, кто закончил свой путь в Шаданакаре, достигнув до его наивысших миров и теперь со-творит Планетарному Логосу. Ради помощи нижестоящим они покидают Элиту Шаданакара и, осуществляя миссии, объять которые не в состоянии самый высокий мистический разум человека, сходят путем рождения сюда, в затомисы. Они принимают здесь такие же просветленные тела, как и у братьев синклита, но несравненно превосходят их быстротою своего вхождения в полноту духовной силы и масштабами своего Я. Их пути в затомисах похожи на пути гениев среди остального человечества, но синклиты предуведомлены об их рождениях и ждут их с радостью и ликованием.

Те же, кто были гениями и вестниками на Земле, продолжают после искуплений, просветлений и трансформ свое творчество здесь, в затомисах.

Возрастает блаженство самих гамаюнов и сиринов, когда они видят те эпопеи, которые творят там великие души, прошедшие в последний раз по земле в обликах Державина и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Толстого и Достоевского, Рублева и Сурикова, Глинки и Мусоргского, Казакова и Баженова. Светящиеся волны невообразимых звучаний взмывают местами как бы из сердца небесных гор: они водворяют душу в состояние такой духовной отрады, от какого разорвалось бы земное сердце, и, поднимаясь и меняясь, подобно славословящим облакам, опускаются в любви и тишайшей радости.

Великий зодчий, когда-то приступивший к сооружению храма Тела, Души и Духа в Москве на Воробьевых горах, испытавший крушение своего замысла, изгнание, забвение и нищету, теперь творит высочайшее, что есть в Небесном Кремле: внутренние приделы в обители Звенты-Свентаны.

Но среди просветленных Небесной России лишь ничтожное меньшинство известно нам, знакомым с историей нашей Родины. Имена остальных ничего не скажут нашей памяти.

В монастырях Киевской и Московской Руси, так же как и в обителях более поздних времен, проходили незаметно свою жизненную тропу не светочи святости, но тихие души, менее богатые дарами, молча и смиренно вносящие свою лепту в религиозное творчество, в соборный труд духа.

Во все эпохи по дорогам России брели странники и искатели, сказители и бандуристы, безымянные творцы сказок и духовных стихов, песен и легенд, никем не записанных утраченных рассказов о героях своего времени и об его идеалах. А чудесные мастера сканного, обронного или иконописного дела, плотники-строители чудесных теремов, смиренных деревянных церквей и весело разукрашенных изб, влюбленные в свой труд каменщики, столяры, гончары, ткачи, ювелиры, переписчики, работавшие в мастерских, приказах, кельях и под открытым небом, чьи создания, отмеченные радостью творчества и горячей любовью к жизни, веселили и радовали целые поколения, – где могут быть их создатели ныне и что они могут создавать теперь, если не вечные ценности Святой Руси?

Во все эпохи русской истории тысячи мужиков – огнищан, смердов, тяглых крестьян, крепостных и вольных, просто и чисто проживших свой век, совершали труд посевов и жатв как возложенный на них Богом долг, с благоговением и благодарностью к Матери-Земле, и умирали простой и ясной смертью, веруя и простив всех.

Во все эти эпохи тысячи матерей несли свой крест, воспитывая людей, достойных имени человека, и в служении этому делу полагавших смысл своей жизни. Разве это не одно из самых высоких творчеств?

Когда начали строиться школы, сотни людей бросали привычный круг и образ жизни и уходили – хочется сказать, спускались – в народные низы, замуровывая себя на всю жизнь в захолустьях, среди непробудного невежества, где не с кем было перекинуться живым словом: все ради просвещения непросвещенных.

А врачи, работавшие по одному на целый уезд? А герои-доктора на эпидемиях? А те из революционеров, кто был движим не фанатизмом, ненавистью и жаждой власти, а живою любовью к людям и скорбью от созерцания скорбей народа? А те из священников, которые, в меру данных им от Бога даров, являли образец ясной и чистой жизни, возвращая во множестве простых сердец лучшее, что в этих сердцах было?

Нет возможности перечислить те пути на земле, встав на которые путник приходит, рано или поздно, к синклиту. Вопрос только во времени, в стадиях, которые еще надо преодолеть по дороге к этой цели. Цели, не проявляющейся в сознании человека с полной отчетливостью, но ведомой ее бессмертной монаде и влекущей ее.

О, напрасно представлять себе Небесную Русь в виде нескончаемых, однообразно строгих служб и молений. Там такие духовные наслаждения, о каких мы не имеем понятия; там есть и шутки, и смех, и даже игры, особенно среди их детей.

Я мог бы перечислить несколько имен деятелей русской культуры и истории, которые вступили в Небесную Россию за последние сорок лет. Пусть смеется, кто хочет, над этим сообщением. Да и к репутации сумасшедшего мне не приходится привыкать. Итак – имена некоторых из тех, кто не имел нисходящего посмертия и сразу после смерти в Энрофе вступил через миры Просветления в синклит: Лесков, Римский-Корсаков, Ключевский, Гумилев, Волошин, Рахманинов, Анна Павлова, Сергей Булгаков, Иоанн Кронштадтский, патриарх Тихон, цесаревич Алексей Николаевич, несколько творцов и тысячи героев, погибших от руки Сталина. Очень немногие из имен тех, кто вступил в синклит после кратковременного пребывания в верхних чистилищах: Фет, Л. Андреев, Александр Блок, Шаляпин, Александр II, Константин Романов, академик Павлов.

Из числа просветленных, взошедших в Небесной России на особенную высоту, мне известно несколько имен: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Алексей Конст. Толстой, Достоевский, Аксаковы, Витберг, Кутузов, не пользующийся широкой известностью и рано умерший гравер XVIII века Чemezov.

Ближе остальных к великой трансформе, уводящей в Небесный Иерусалим и в Синклит Мира, подошли к настоящему времени Лермонтов, Владимир Соловьев, император Иоанн VI, а также два духа, чьи имена вызвали мое удивление, но были два раза твердо произнесены: Шевченко и Павел Флоренский.

За все время существования русского затомиса через него в Синклит Мира поднялось несколько десятков человек, из которых мне известны следующие имена: Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Антоний и Феодосии Печерские, летописец Нестор, дружинник Сергей – автор «Слова о полку Игореве», Александр Невский, Сергей Радонежский, Андрей Рублев, Нил Сорский, Ломоносов, Александр Благословенный, Амвросий Оптинский, Серафим Саровский.

Зрение, разрывающее оковы нашего пространства, различает вдали, за сферою Российской метакультуры, небесные страны других метакультур, такие же лучезарные, исполненные неповторимого своеобразия. Подготовка в любви и взаимопонимании к творению небесной страны всечеловечества священной Аримой, – вот узы, связующие ныне синклиты и грады метакультур. Величайшие из детей человечества, завершив творения в своих священных градах,

выходят за метакультурные пределы: поднимаясь в Синклит Мира как бы с разных сторон, они встречаются, наконец, но еще задолго до его достижения. Мир их встречи – Гридруттва, белый чертог, где творится ими общий план восхождения человечества. Дальнейший подъем приводит в такие слои, где их мудрость и мощь превосходит мудрость и мощь демиургов. Высший провиденциальный план, который мы сквозь историю можем различить иногда как бы за частными планами демиургов, есть отражение их творческого труда. Это – Синклит Мира. Он со-творит, во всей ясности духовного сознания, самому Планетарному Логосу.

Аримойя лишь недавно начата творением в четырехмерных мирах, а ее историческое отображение на Земле будет смыслом и целью наступающего столетия. Для этого и совершилось низлиание сил Приснодевы-Матери из транскосмических сфер в высшие слои Шаданакара – сил, сосредоточившихся в одной божественной монаде; для этого и создается в Небесной России небывалый храм, чтобы принять в него Ту, Чье рождение в четырехмерных мирах есть цель и смысл грядущего брака Российского Демиурга и Соборной Души. Исторически же, через осуществление этого великого Женственного Духа в Розе Мира начнется преобразование государственности всех народов в братство всех. В этом Российскому синклиту помогают и будут помогать все синклиты метакультур, а Синклит Мира примет от них и продолжит их труд, чтобы завершить его всемирным богочеловечеством.

Однако, кроме великих затомисов, исчисляемых цифрою 19, в Шаданакаре имеется другая сакуала затомисов: это затомисы метакультур, трагически недостроенных в Энрофе. Если становится ясно, что Провиденциальные силы данной метакультуры не могут противостоять натиску демонических начал, ее затомис перемещается в слой этой сакуалы. Культурные, а иногда и государственные образования ее в Энрофе мало-помалу растворяются в общечеловеческом окружении, уицраоры погибают, подземные шрастры влачат мучительное прозябание, постепенно вырождаясь; но затомис продолжает свое развитие, синклит продолжает и усиливает свое творчество. Души такой метакультуры, еще не достигшие того уровня, при котором затомис становится для них открыт, могут проходить ступени необходимого совершенствования вне Энрофа либо претерпевать инкарнации в других метакультурах и странах, но в конце концов достигают именно своего затомиса. Бывают и такие случаи, когда культурно-исторический базис в Энрофе еще длит, постепенно хирея, свое существование и затомис сохраняет с ним активную связь-помощь. В таких случаях еще возможно, при благоприятных условиях, возвращение затомиса в прежнюю сакуалу, а сверхнарода – к исторической жизни. Нечто подобное происходит теперь с Жюнфлейей, о которой я уже упоминал.

Мне остается коротко перечислить пятнадцать затомисов этой второй сакуалы.

Намбата – затомис Древнесуданской метакультуры, в очень неблагоприятных условиях крайне медленно развивавшейся, лучше сказать теплившейся в долине Нигера, в районе озера Чад и в Кордофана с девятого по пятое тысячелетие до Р.Х. Погибла от центробежных сил, истощавших ее нескончаемыми междоусобными войнами. Первая в истории человечества попытка сцементировать антагонистические и притом этнографически пестрые народности общей международной религией (конечно, политеистической) не удалась вследствие усиленного демонического воздействия через весьма двойственный пантеон той же религии. Археологические остатки этой культуры еще могут быть обнаружены.

Эмблематический образ:

Хоровод нагих темных людей на изумрудно-зеленом фоне.

Цен-Тинь – затомис Прамонгольской метакультуры, – прамонгольской не в этнографическом, а в территориальном смысле. Ее народ принадлежал к желтой расе, но антропологически, да и духовно был ближе к народам Гондваны, чем позднейшей Монголии. Он

населял Северный Китай и Приамурье в четвертом – третьем тысячелетии до н.э. и переходил от кочевого образа жизни к оседлому. Уже возникли небольшие города. Начало этой культуры было замечательное. Ведущей иерархией был не демиург сверхнарода, а некое могучее демоническое существо, которое должно было обратиться и уже обращалось к Свету. Оно было погублено Гагтунгром, а сверхнарод раздавлен ордами, нахлынувшими из Центральной Азии.

Эмблематический образ:

Крылатый дракон, запрокинувший голову к Солнцу и заливаемый его лучами.

Пред – затомис Дравидической метакультуры, определяемой этим наименованием условно, так как в ней принимали участие народности различного этнического корня, в том числе близкие к сумерам. К поздним образованиям этой метакультуры относятся города Мохенджо-Даро и Хараппа. Катастрофа (в начале второго тысячелетия до н.э.) явилась следствием как внутренних причин (для меня они не ясны), так и внешних: вторжения арийцев.

Эмблематический образ: (я видел его неотчетливо):

Розовая пагода.

Асгард – неправильно называемый иногда более популярным именем Валгаллы: затомис Древнегерманской метакультуры, парализованной ростом в историческом слое христианства. Катастрофа произошла в двенадцатом веке.

Эмблематический образ:

Золотой чертог в облаках.

Токка – затомис Древнеперуанской (доинкской) метакультуры, исторически развивавшейся в века перед и после Р.Х. Быть может, не надо печалиться, что это образование погибло в Энрофе, так как воздействие демонических начал было в нем очень сильно¹².

Эмблематический образ: Каменная статуя сидящей пумы.

Бон – затомис Древнетибетской культуры, разрушенной буддизмом, но элементы которой органически вошли в культуру Махаяны.

Эмблематический образ:

Красная и голубая молнии, скрестившиеся над оранжевым шатром царя. Смысл: голубая молния – буддизм с его духовностью, красная – добуддийская, в очень сильной степени отравленная демонизмом, тибетская религия. Шатер – царская власть, гибнущая в итоге скрещения этих двух сил.

Гаурипур – затомис маленькой, слишком рано отделившейся от Индии, но с огромными возможностями, Гималайской метакультуры. Именно здесь зажигались когда-то самые яркие очаги буддизма; здесь в лоне этого учения протекали те метаисторические процессы, которые создали из него религию в полном смысле этого слова, то есть учение не только нравственное, но и трансфизическое и духовное. Нравственная же сторона буддизма поднялась в Гималаях на такую ступень, которая знакома лишь чистейшим образцам христианства.

Гималайская метакультура погибла от натиска с двух сторон демонов великодержавной государственности: тюркских уицраоров – с севера и с запада, уицраоров империи Великих Моголов – с юга. Ныне эта метакультура совершенно гаснет в Непале.

Эмблематический образ:

Коронованная горная вершина под созвездием Ориона.

Юнкиф – затомис Монгольской метакультуры, сразу ставшей добычей необыкновенно могучего уицраора. Катастрофа – в тринадцатом веке.

Эмблематический образ:

Волнистая линия холмов, и над нею сражение двух стай, белой и красной.

Йиру – затомис Древнеавстралийской метакультуры, две тысячи лет существовавшей в полнейшей изоляции от остального человечества в Центральной Австралии. Общество дошло до

рабовладельческой формации. Метакультура погибла вследствие чрезвычайной активности демонических стихий – духов пустынь и непроходимых кустарниковых зарослей. На протяжении многих веков в культуре боролись две религии – «правой и левой руки»: политеистическая и демоническая. Последняя приносила человеческие жертвы именно тем злобным стихиям, которые губили метакультуру. Под конец эта религия взяла верх и борьба против наступления пустыни и кустарников была объявлена грехом. Культура в Энрофе угасла благодаря внутреннему высыханию. Из искусств наиболее развитой была живопись. Она напоминала до некоторой степени Критскую, но была интереснее и ярче. Остатки цивилизации, которые будут обнаружены, не дадут восстановить картину вследствие своей незначительности.

Эмблематический образ:

Облако над вулканом, но это, в действительности, сверхнарод и его синклит.

Тальтном – затомис Тольтеко-ацтекской метакультуры.

Эмблематический образ:

Героический лик, увенчанный солнцем.

Кэрту – затомис Юкатанской метакультуры (мая).

Эмблематический образ:

Голубая змея вокруг золотого дерева. Смысл: змея далеко не у всех народов являлась символом темных начал. Золотое древо-духовный (трансфизический) мир. Голубая змея – сверхнарод, спиралеобразным развитием поднимающийся к духу.

Интиль – затомис Инкской метакультуры, гибель которой в Энрофе, как ни странно, уберегла мир от большой опасности (об этом пойдет речь в одной из других частей книги).

Эмблематический образ:

Фигура в красном, с митрой на голове и с руками, воздетыми к солнечному диску. (Красный цвет здесь – знак царственности, митра – верховного священства.)

Даффам – затомис Индейской метакультуры области Великих озер¹³.

Эмблематический образ:

Группа воинов, направляющих копья на серп ущербной луны.

Леа – затомис Полинезийской метакультуры, которую погубила ее крайняя географическая распыленность. Остатки догорают на Гавайях, Таити и других архипелагах.

Эмблематический образ:

Золотая гора на острове в голубом море.

Никисака – затомис Японской метакультуры, тяжело раненной дважды: буддизмом и европеизмом и не могущей раскрыть своих потенций. Шинтоизм по существу есть поклонение Никисаке как японскому синклиту; богиня Аматерасу, в правильном понимании этого образа, есть не что иное, как Навна Японии. Процесс перемещения Никисаки в сакуалу трагически недостроенных в Энрофе метакультур происходит теперь. Роза Мира сможет существенно помочь укреплению этого затомиса: для него еще вполне возможен возврат.

Эмблематический образ:

Цветущие вишни над водоемом. ПРИМЕЧАНИЯ

Под планетарным космосом понимается совокупность слоев различной материальности, различного числа пространственных и временных координат, но непременно связанных со сферой Земли как планеты. Планетарный космос – это земной шар во всей сложности материальных (а не физических только) слоев его бытия. Подобные могучие системы имеются у множества небесных тел. Они называются брамфатурами. Брамфатура Земли носит имя Шаданакар. Об этих словах, как и о многих других, употребляемых здесь впервые или же измененных новым смыслом, в них влагаемым, следует смотреть небольшой словарь, приложенный в конце.

Кстати, если Евангелие не говорит об арунгвильте-пране прямыми словами, зато оно подробно рассказывает о длинном ряде случаев, когда Христос и, позднее, апостолы пользовались этой сущностью. Совершенно непонятно, как могли бы христианские ортодоксы объяснить суть того иноматериального механизма, которым пользовались виновники чудесных исцелений, если отрицать наличие жизненной силы, разлитой во всем и везде.

Булгаков С. Два града. С. 103.

Такая характеристика, однако, не должна быть воспринята как попытка предрешить заранее в положительном смысле оценку объективной значимости описанного психологического явления. Об этом речь впереди.

Это переживание я попытался выразить в поэме «Ленинградский апокалипсис», но закономерности искусства потребовали как бы рассучить на отдельные нити ткань этого переживания. Противостоявшие друг другу образы, явившиеся одновременно, пришлось изобразить во временной последовательности, а в общую картину внести ряд элементов, которые хотя этому переживанию и не противоречат, но в действительности в нем отсутствовали. К числу таких производительных привнесений относится падение бомбы в Инженерный замок (при падении этой бомбы я не присутствовал), а также контузия героя поэмы.

Мировые периоды. Кальпа – период от возникновения до разрушения мира.

Отмечу попутно, что различие двух значений слова «вечность» до сих пор очень мало осознано нашей философской мыслью.

Из числа деятелей мировой культуры я мог бы назвать несколько таких имен: Эсхил, Дант, Леонардо, Микеланджело, Гете, Бетховен, Вагнер, Ибсен, Лермонтов, Лев Толстой.

Кроме субъективного идеализма.

В некоторых культурах, например в Греко-римской или Вавилоно-ассиро-ханаанской, развитие мифов уже вышло из стадии «общего», но не сложилось в систему, достаточно строгую для того, чтобы мы могли причислить олимпийский и вавилонский мифы к группе национально-религиозных мифов сверхнародов.

При этом само понятие «данной культуры» может быть осознано не более четко, чем это было, например, у греко-римлян, с их противопоставлением себя всему остальному человечеству как варварам.

Эта культура должна была высоко поднять труд просветления животного царства, но исторически пришла к его обоготворению и деградировала до широкого распространения людоедства.

Эта культура особо предназначалась к борьбе с лунным демоном женственной природы – Воглеа. Отсюда необычайная целомудренность этого народа. С этим же связано и его отрицание городской цивилизации.

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)